

ЮРИЙ КАЗАРИН

РУССКИЙ

ГУЛЛИВЕР

КУЛЬТУРА ПОЭЗИИ-2

СТАТЬИ • ОЧЕРКИ • ЭССЕ

Гуманитарные исследования

Юрий Казарин

**Культура поэзии – 2.
Статьи. Очерки. Эссе**

НП «Центр современной литературы»

2019

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

Казарин Ю. В.

Культура поэзии – 2. Статьи. Очерки. Эссе / Ю. В. Казарин —
НП «Центр современной литературы», 2019 — (Гуманитарные
исследования)

ISBN 978-5-91627-204-8

Книга Юрия Казарина, известного поэтолога и литератора, «Культура поэзии – 2» является продолжением одноимённой книги, выпущенной «Русским Гуливером» в 2013 году. Книга включает в себя очерки, статьи и эссе, в которых запечатлены портреты современных поэтов и приметы особой сферы словесной культуры – культуры поэзии. Сегодня проблема культуры художественной словесности стоит как никогда остро. Автор, кроме того, в своих работах пытается осознать загадочную, не поддающуюся определению природу поэзии как феномена не только литературного, но и культурного в целом. Многие статьи и эссе публиковались в журнале «Урал» (2013–2017), а также в других изданиях.

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-91627-204-8

© Казарин Ю. В., 2019
© НП «Центр современной
литературы», 2019

Содержание

2013	6
Она летела	6
Разведка пленом	10
Я знаю этого коршуна	15
Не зарывай	18
Крупнее жизни	21
До пятой музыки	24
2014	28
Война в войне	28
Голое имя	32
Вкус глины	36
Когда вода напьётся	41
Господи, сфотографируй нас...	45
Культура поэзии: новая просодия	49
Молния в сверчке: время и время	54
Сквозь себя	58
Продлиться навсегда	62
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Юрий Казарин

Культура поэзии – 2

© Ю. В. Казарин, 2017

© Русский Гулливер, 2017

© Центр современной литературы, 2017

2013

Она летела

Она летела. По ветру. Шляпа. Сначала я снял её (аккуратно и вверх, строго вертикально, как крышку с кипящей кастрюли) с головы моего спутника, а потом подбросил со всей матушки, вернее – забросил в ветер, – и она полетела. Бреющий полёт шляпы. Так себе шляпа: почти котелок, даже не старомодный, а уже невозможный. Городской ветер опустил её на дорогу и покатил дальше, на север, по ул. Мамина-Сибирияка, – покатил, как колесо, чёрно-серую, навстречу потоку машин. И – оп: тяжёлая серебристая «Волга» (не «Мерседес» и не «Лексус»), а наша родная «Волга» прихлопнула её передним левым колесом – и шляпы не стало. В магазине спорттоваров я купил моему спутнику бейсболку. И она ему очень понравилась. Хотя и шляпу было жаль, папину, древнюю, шик промзоны, выходной аксессуар, который надевали на плешивую башку, когда отправлялись в магазин, в аптеку, в кинотеатр или в Управление шахты.

В каждой деревне, в каждом селе, в посёлке, в небольшом городке (о мегаполисах молчу) есть свой достопримечательный дурак. Дурачок. Убогий. Юродивый и т. п. Мой товарищ как раз был человеком такого склада и сорта: мой сосед по Каменке. Низкорослый мужичок (ростом с сидячую собаку, – как говаривает мама Наташи), с близко друг к другу посаженными глазами, почти птичьими («Скрипцы прилетели», – говорит он обычно вместо «скворцы»; так оно и есть: скворцы вечерами сидят с набитыми животиками на деревенских алюминиевых, с узлами, проводах – и скрипят). Молчаливый. Почти не здоровается (ни с кем): зыркнет жёлтыми сталинскими глазками – всё, считай поздоровался. У него была сестра. По вечерам они ставили на старенький проигрыватель пластинки (винил) и орали – подпевали – перепевали «Валенки-валенки» и «Я под горку шла...». Сестра его в прошлом году замёрзла, пьяная, насмерть в сорока шагах от моих ворот: села в сугробик и уснула. Навсегда. Маленькая, полненькая пушистая такая тётка. Я посадил на том месте, где она в моей памяти спит до сих пор, вербу – тоже маленькую, хорошенькую, пушистенькую.

Деревенских дурачков обычно зовут Михаилами, а дурочек – Верами, Надями и Любами. Могу назвать с дюжину деревень, в которых наблюдалась такая прецедентная антропонимия. Обычно дурачок не знает и не любит никого (хотя, конечно, это не так: чаще он делает вид, что никого и ничего не помнит, – так проще), но зато деревенский юродивый знает и любит землю. У него всё растёт. И ещё как! И деревья плодоносные, и кусты, и зелень, и капуста, и картошка. И в рыбалке он удачлив. И грибы к нему в корзинку сами прыгают. Но... Есть в этом природном его родстве с землёй и в везении – любом: погодном, пахотном, хозяйственном, – что-то трагическое. Одиночество? Думаю, не только оно. Наблюдения мои за такими людьми (а они почему-то не сторонятся меня и часто тянутся ко мне – поговорить, помолчать, посмотреть в глаза) показали, что они невероятно остро чувствуют время. Помните юродивого из «Бориса Годунова»? А вот «Юродивый в 1918 году» Арсения Тарковского:

За квёлую душу и мёртвое царское тело
Юродивый молится, ручкой крестясь посинелой,
Ногами сучит на раскольников хрустком снегу:
– Ай, маменька,
тятенька,
бабенька,
гули – агу!

Дай Феде просвирку,
дай сирому Феде керенку,
дай, царь-государь,
импелай Николай,
на иконку!
царица-лисица,
бух-бух,
помалей Алалей,
дай Феде цна-цна,
исцели,
не стрели,
Пантелей!.. <...>

Дальше переписывать не стану. Остановлюсь: там про добрых красноармейцев. (На границе с РФ я бы установил предупреждающие плакаты – для иностранцев и вообще для людей с душой: «ОСТОРОЖНО: РУССКИЙ НАРОД!»). Большой на голову и светлый, чистый душой Федя уже назвал безумное время *импелаем*, *помалеем Алалеем* и абсолютно зловещей *цной-цной*. Вот и ясно всё стало. Всё встало на свои места в душе, не находящей себе места...

Она летела. Брошенная опытной рукой, она одолевала заданную траекторию. В самой высокой точке она перестала кувыряться, уравнилась, почти замерла – и рванула вниз, в окоп. Граната. Наступательная. Советского производства. В окоп. В ангольский окоп, в котором (полнопрофильном, с редутиком, с мешочками, наполненными песком, и с нишами для посидеть и полежать) трое играли в карты. Морпехи. Двое сидели спиной к фронту, один – лицом. Он сдавал (играли в двадцать одно). Выдал по одной карте по кругу, начал давать по второй... и – вдруг... не роняя карт, резко поднял правую руку вверх – не глядя, поймал гранату и кистевым броском, чуть приподнявшись, отправил её обратно. Ухнуло. «Два очка», – подвёл итог один из них, бывший баскетболист, – и попросил у гранатоловца и гранатовозвращателя ещё одну карту – к десятке и двойке: вот бы девятку...

Гранатолов был парень ростом под два метра. Он был громоздок и рыхловат. Хороший боец с лицом деревенского дурачка. (23 февраля 2013 года Коля, так звали сдающего карты, в возрасте 57 лет пустит себе пулю в лоб на даче под Питером; другой, Иван, небаскетболист, который перед дракой или боем, что для него одно и то же, всегда произносил зловещую фразу «Мейне мутер арбайтен ин колхоз», – покончил собой [петля] в 2012 в возрасте 56 лет; третий пока топчет землю и ненавидит асфальт). Когда-то я написал стихи, думая о Коле. Вот они.

Дурачок, дурачок,
отпусти домой зрачок
с неба семидонного,
людям похоронного,
или неба сродного,
для любви пригодного,
неба золотого,
как большое слово
с буковкой бу-бу,
с молнией во лбу
да с душой – обузой,
с птичкой белопузой —
ласточка пять раз
поцелует глаз,

ясный, бестолковый,
к темноте готовый,
коли белый светсъели на обед...

Она летела. Я рыбачил на мостках, сидя на раскладном стульчике, лицом к югу. Солнце слепило глаза, ветер слипал ресницы. Поплавки терялись в золотой водяной ряби. В ушах гудело, и волна хлопала в ладоши под мостками, редко и всегда неожиданно. Но я слышал и знал: она летит. Вообще-то, их было много. Они месили вещество воздуха, света и отражения леса и неба в озере. Они летали всюду, стремительно и непредсказуемо. Казалось, они не умели или не могли летать по прямой, совершая постоянно зигзаги, резкие и острые развороты, взмывы в небо, иногда они «брили» волну, а порой бросались в сторону так, будто пугались незримых чёрных дыр, уводящих, засасывающих их в параллельное пространство. Но одна из них летела прямо на меня. Нет – в меня. Каждый день. Всякий раз, когда я оказывался с удочками на мостках. Она подлетала ко мне – и тормозила, замирала на месте, трепеща крылышками и пища-свистя. Прямо перед лицом моим – зависала. Ласточка-береговушка. И – смотрела мне в глаза секунд 10–12, а потом взмывала вверх, задирая мою голову лицом к небу. И я сидел, как дурак. Обманутый? Обнадёженный? Обиженный? Одарённый? Разбуженный и взбудораженный этой загадочной маленькой птичкой. И я чувствовал себя дурачком. Иваном-дурачком. Ванькой-дурачком. Юркой юродивым. Юр – юродивый. И в эти горько-сладкие мгновения прозренья понял я: мифологический наш Иван – абсолютно архетипичен, вездесущ, вечен и неистребим. А Наполеон (вот дикая и дурацкая мысль!), изгнанный из России в 1812–13 гг., вернулся через два века и завоевал победившую некогда его страну изобретённой им на голову французской аристократии – бюрократией. Бонапарт обюрократил Россию. Потому что любая революция тащит за собой миллионы алчных, невежественных, но власть имущих дармоедов. Наполеон Буонапарте подзаразил Россию вирусом бюрократии... Здравия желаю, Импелай!.. Помалей Алалей!.. Цна-цна!..

Наивность, доброжелательность, граничащая с равнодушием, умственная и душевная сосредоточенность, бескорыстие и грубая, природная нежность – всё это есть основа натуры Ивана, Феди, Миши, Веры, Любы и Нади, ползающих сейчас по огороду, колющих дрова и замерзающих в снегу спиной к забору. В больших городах дураков меньше. Или их просто не видно в толпе. Бюрократия и бизнес заскучали. Понавезли азиатов (говорят, из Таджикистана подъезжают ещё 20 млн гастарбайтеров). Пригороды Екб заполнены черноголовыми пареньками, которые быстро ассимилируются и ассимилируют. Правда, чиновники и дельцы подзабыли, что Восток – дело тонкое. А где тонко, там, сами знаете, что происходит. Есть у Геннадия Каневского прекрасное (само по себе) стихотворение, в котором утверждается международный статус дурака постсоветского пространства.

Рахимов

весной легко дружить со всеми.
и азиатский город весь,
как перевёрнутое время,
стекает медленно с небес,
и видишь, шторы отодвинув:
ответственный за тьму и свет,
среди двора стоит рахимов,
дурак пятидесяти лет.
ногой проделывает русла.

метлой вздымает кутерьму.
за русский письменный и устный
ему воздастся по уму
на ритуальной киноплёнке, где кровь, наследница творца,
течёт себе
от нас в сторонке,
не
от —
во —
ра —
чи —
ва —
ет —
ся.

Она летела. Планета земля. И он летел. Астероид. Она летела, а с нею летел и Челябинск.
Они летели вместе. Летели, летели, летели. Летели, пока он не прилетел.

Разведка пленом

Once upon a time один критик упрекнул меня в том, что моё мышление (как сочинителя книги поэтологического характера) иерархично: я «поставил» над всеми литераторами, пишущими стихи, М. Н., А. Р., Б. Р., Р. Л., В. Д., Е. И., А. З., Н. С. и др. Ужас! Упрёк был с двойным, а то и с тройным дном: иерархичность оценки (точнее – модальности, т. е. отношения к предмету говорения) есть субъективность и предвзятость, заговор, аксиологическая наглость, поэтологическое вероломство, социальный вызов и политический в литературоведческом аспекте демарш. Да, моё мышление иерархично, типологично, аналитично, синтетично etc. Как и у остальных 7 млрд. особей homo sapiens, населяющих Земной Шар. Автор заметки осерчал и обиделся на меня за то, что сам же сделал в своём корректирующем и карающем очерке, сравнив работы трёх поэтологов и отдав первое место трудам того, кто к поэтологии не имеет никакого отношения, и поместив на второе и третье места книги (серию) поэта – анталогиста, создавшего за 25 лет работы сводный триптих современной региональной поэзии и пару книжек, написанных мной грешным. Критика должна упрекать? Обижаться за державу словесности – и бить? – мне стало жаль этого человека, не знающего теории и практики Зеркала Текста (Ю. Левин). Критик должен писать не на бумаге, а на зеркале – поверх своего лика и сквозь него. Одним словом, я не обиделся, но – оторопел и удивился: оказалось (по мысли данного Once Upon A Time), что в «Поэзии и Литературе» я глумливо ранжировал мёртвых (поэтов), а в «Поэтах Урала» – взялся за живых, то бишь из страшноватой птицы грифа-могильника превратился в настоящего хищника: коршуна, ястреба, орла, – чтобы рвать живое мясо здравствующих коллег...

Автор, обвинивший меня в иерархизме, к сожалению, не заметил, что и первая, и вторая книги в равной степени посвящены исследованию феномена поэзии (в его необывательском понимании как стихописания) в стихах как живых, так и мёртвых. Мёртвых поэтов вообще-то не бывает. Мёртвые графоманы встречаются повсеместно.

Писать на зеркале и по зеркалу – трудно. Почти невозможно. Жаль лица своего, исчезающего под наплывающим текстом. И тогда критик начинает инвектировать: судить, ругать и поучать. Скушно.

Поэзия – дело мужское, кровавое (А. Ахматова). Поэтология – суха и опасна (как для объекта исследования, так и для субъекта-исследователя). Рано или поздно – получишь по башке за то, что кого-то не упомянул, кого-то недоцитировал, кого-то не удостоил и удостоил не так, как хотелось бы достаиваемому. Поэтолог – это тот, кто думает и пишет о текстоведе-нии, о текстотворчестве, о поэзии и о поэтах. Поэтологи, как правило, сами сочиняют стихи и стишки. Всё нормально: физики занимаются физикой, химики – химией, математики – математикой, а поэты – поэзией. Вот, видимо, почему так редуцировалась сфера литературной критики. Сегодня критика – сами литераторы, и пишут они друг о друге. Так и должно быть. Сочинитель читает написанное не им, ведёт, так сказать, разведку того, что создаётся противником (соревновательность, да?). Потом, сняв «карту творчества» имярека, восхищается ею, возмущается, наслаждается, отвергается от неё, влюбляется в неё и т. д., т. е. проводит – в любом случае – диверсионную работу: хваля – перехваливая, ругая – переругивая, оценивая – переоценивая – недооценивая Нечто etc. А затем... А потом превращается в чистильщика: уничтожает следы своего присутствия на чужой этико-эстетической территории, смотрится в зеркало – и видит текст. Не своё, милое себе, лицо, но – текст. Текст, равный и себе, и объекту текстотворчества. Такие дела...

И ещё. Может быть, самое главное. Поэтолог, поэтиевед должен *любить* то, что он исследует. Наблюдает. Познаёт. Осознаёт. Он должен (если может, умеет и смеет) плениться (в прямом, этимологическом значении) поэзией и поэтом. Он обязан попасть в плен.

1975 год. Разведгруппа из семи морпехов оказывается в Лаосе. Задач много: во-первых, обозначиться в этом беспокойном месте (если Восток дело тонкое, то Юго-Восток – тончайшее), т. е. стратегически: показать друзьям – противникам (двум-трём державам), что мы ЗДЕСЬ, и войти в состояние контакта-неконтакта-полуконтакта с предполагаемыми визави (не с лаосцами, естественно: они заняты своими делами политико-партизанского характера). Во-вторых (тактика), прогуляться вглубь (весьма неглубокой) страны, ознакомиться с окрестностями, достопримечательностями, кое-какими людьми и нелюдьми. И, в-третьих: главное. Обнаружить нечто, очень нужное всем – и нам, и англосаксам, и прочим друзьям-товарищам... И – группа пошла. Джунгли. Холмистые. Не те джунгли великой Амазонии школьно-географического характера (в те поры спутникового и кабельного телевидения не было: и картинки реальной – тоже), а полусухой лес-подлесок с огромным количеством насекомых и гадов (как в Индии, например; в Анголе, там кусты да огромные кочки то ли травяные, то ли тростниковые – жуть; а в Северной Африке – там песочек, везде, и в ботинках тоже). Идёт группа. Командир (нарушая предписанный порядок) – первый, во главе колонны по одному с интервалом ровно на разрыв мины – и летучей, и лежачей, и прыгучей. Слышатся редкие хлопки миномёта (одиночный аплодисмент), которые чреватые через 7–10 секунд ответным групповым аплодисманом. Клакеры хреновы. Оккациональный (на арапа) обстрел окрестностей военной базы. Демонстрация бдительности и ужаса тихой вечной войны. Группа идёт. Навстречу (с неба) – мина. Прямое попадание в морячка, следовавшего за командиром. Командир летит – боком – в сторону, точно на север (поближе к Родине), и, контуженный, катится с холма, по откосу вниз – прямо к товарищам военным. Низкорослым, однолицым и неловким, как инопланетяне. Пятеро останавливаются и – бегом – уходят вверх: двое, кажется убиты. И – командир. Однако последний жив. Его берут в плен. И он приходит в себя в бетонном полуподвале какого-то строения военно-промышленного образца (ох уж этот Рембо с его бамбуковыми клетками и кагебистами, подбирающимися с электродами к его бесценным гениталиям...). Контузия серьезная. Тотальная. Кровь идёт из всех телесных отверстий. Но настроение – бодрое. Потому что – страшно. Не за медальки, которых лишат, если выберешься, а за ребят, окочавшихся на вершинке холма. Три недели его никто не трогает. Он лежит на бетонке, предварительно вымазав своей кровью комбинезон. Ходит он, что называется под себя, в штаны. Играет немощного, обезумевшего от контузии идиота. Стонет. Его рвёт кровью – и он слабым голосом издаёт англо-матерные звуки с добавлением волшебного слова «God», что-то вроде «Oh, my God...». Ясно: узнают в нём русского – расстреляют. Морского котика – отдадут за выкуп. Всё просто. Кормят: миска риса и миска воды. Половину съедает, половину разбрасывает окрест себя. Воду выпивает всю. Но миску отбрасывает от себя на метр – не пил я её, вашу вонючую воду.

Иногда в камеру заползает солнечный зайчик, бледный и размытый, и пишет на противоположной от окна стене кружок с точкой. Это ребята. Его ребята. Он молится. Просит Бога, чтобы не пускал их сюда. Не прорваться: гарнизон – человек 300. Значит, то, что ищем, – здесь. Это хорошо... Через три недели к нему в камеру приходят трое: старший офицер с белым носовым платком в правой руке (в правой – это хорошо), офицер помладше с бамбуковой палочкой в правой же руке (о, это тоже очень хорошо), но бамбук какой-то такой не Рэмбовский, а скорее удилищный: верхушка удочки, тонкая бамбуковая вица. Третий – унтерофицер с АК-47, который смотрится в его ручках (все – низкорослые, как семиклассники) как трёхлинейка, как винтовка Мосина образца 1908 г. Старший заговорил по-своему. Средний – по-русски. Младший аккуратно пнул в лицо: пленный от удара не заслонился, но успел разглядеть – сапог наш, советский, на подошве рядом с каблуком цифра «39». Карлик милый. Милый карлик... Карлик у Кеши украл прахорю... Средний перешёл на английский. Пленный оживил свои глаза, сделал взгляд осмысленным, хотя и ни хрена не понял: юго-восточный англо-суржик почему-то напоминал татарский – так, если бы говорил ребёнок, сюсюкающий и не признающий шипя-

щих и сонорных звуков. Старший брезгливо поглядывал на загаженного, в кровавой коросте «котика». Средний наслаждался своим чудесным произношением. Младший переложил автомат в правую руку (о, Боже, как это хорошо!), а потом вообще выпустил его из руки и держал эту родную для пленного вольту за ремень (длинный! – о, хорошо), покачивая автомат, как люльку для 30 (+1) шмелей (хорошо, да? – шмелиный улей). Пленный ругнулся, застонал, попытался повернуться, лечь на спину – средний помог: пнул в лицо, пнул в плечо, пнул в живот, пнул в ... «Вот и всё. Хана вам, пацаны», – подумал пленный, овладевая автоматом (это легко – сначала ногой – садясь, потом рукой – уже стоя, потом три коротких по коленным чашечкам (отключка моментальная и надолго – болевой шок: это вам не кино и не телевизор). И – ходу. Ушёл просто: не спеша, мимо вышки – и влево. Умел ходить рядом с неслепым так и с такой скоростью, что становился невидимым. Всё. Буш. Лес. Подлесок. Долбаная джунгля...

Группа в сборе. Минус один. Его звали Петя. Через пару месяцев его матери вернут Петины (папины) часы «Победа» и вручат Орден Красной Звезды (в то время рядовой состав орденами почти не награждали, только – посмертно; а так всё – медалки, белые и рыжие)... Через неделю группа ушла в Камбоджу, где месяц ребята кушали лягушек, ящериц и гадюк. Ещё через месяц лаосскую базу смела диверсионная группа, вслед за которой прошла группа чистильщиков. Дело было сделано. Нечто было обнаружено и взято. Остальное – сметено к чёртовой матери... Схема такая: разведка – диверсионная работа – зачистка.

Очень похоже на писательскую работу: замысел – осуществление замысла – правка. Подготовка к написанию (нулевой текст в виде плана) – черновик – чистовик... Сначала разведка неизведанного (познание с параллельным влюбливанием в предмет текстотворчества, или пленение автора этим предметом: мука мученическая). Потом полное разрушение пленившего тебя предмета с последующим воскрешением его в вербальном, текстовом виде. И, наконец, зачистка, работа с черновиком, доведение его до совершенства, почти до пустоты (с точки зрения обывателя)...

Сегодня поймал первого леща с тёмно-зелёной башкой и бронзовым (с золотистым отливом) телом. Это – подарок Каменского пруда мне на мой день рождения. Сидел на мостках с удочками и думал: графоман и талант отличаются друг от друга тем, что они по-разному знают время: графоман живёт нынешним, талант – всегдашним. Графоман (и игрок, и имитатор, и сервилист, и идеологизированный стихоговоритель) живёт и пишет ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, талант – ВСЕГДА И ВЕЗДЕ. Графоман – всегда к месту. Талант – вечно не ко времени. Но навсегда. Сочинители, принадлежащие к моему поколению, разделились на две группы: одни приемлют только власть, власть государственную и любую (в России значит – священную, кто бы ни властвовал), другие приемлют и хаос, и космос (хаокосмос), упорядочивая первый и всклокочивая второй. И те и другие, а им сейчас за 50, за 70, – в своё общее время получали и получили, как оказалось, вечную прививку несвободы. И вот странная функциональная особенность и необычные свойства и последствия ТАКОЙ прививки несвободы: одних она, эта прививка, адаптировала к существованию в любой политико-экономической формации, – других же она забросила в СВОБОДУ. В свободу, которая всегда есть, даже если она наличествует только в голове или в ящике стола.

Мой друг поздравил меня СМСом из Лондона (интернет я не люблю). Я сидел у окна и думал, что графоманы без разведки и боя, без жертв, без плена и любви создают чистовик – и рассылают его всюду, где есть электронные СМИ (индивидуальные, обобществленные и вообще «социальные») или машина Гуттенберга. У графомана нет выбора: он обязан публиковаться. Таланту (истинному) – всё равно. Он знает время. В том числе и то, когда его опусы будут опубликованы (пусть через 20–30–50–100 лет). Графоман работает (или пытается работать) бартерным методом (ты мне публикацию / книгу – я тебе премию; или – наоборот). Талант не спешит. (Сергей Гандлевский, крупнейший поэт России, – *не спешит*; Ольга Седакова, поэт

драгоценный, *не спешит* и т. д.). У таланта есть выбор: актуальность или вечность. У графомана – только актуальность и прагматика. Такие дела.

Наконец я взялся отвечать на поздравления. Очередь дошла до моего лондонского Олега, который сегодня превратился в самобытного, глубокого и пронзительного (от горечи времени и души) поэта. Звоню (на часах около 11 утра). Ответил не сразу: в Лондоне 6 утра. Олег перебирается в ванную, и мы говорим. Новости, то-сё. Я сижу на веранде – под окном рябина, осинка, вербочка и яблоня. Говорю Олегу: вот – у меня тут рябина под окном. А Олег смеётся: и у него рябина... Аж слёзы навернулись.

Снова о гибели? Был уже мальчик,
нам не чета.
Выбросьте книги, закройте журнальчик.
И – хоть до ста.
Лучшего не воскрешается призрак.
Нет ничего.
Что вы трясёте мотнёй романтизма?
Дети, во-во.
На окровавленных склонах Кавказа
наш романтизм.
Холод, вагон человеческого мяса,
вши, ревматизм.
Не начинайте. Окончится плохо.
Стиль есть война.
Стиль есть, простите за пафос, эпоха.
Нам это на?..
...Сгинем уродливо, но элегично.
И не пророчь.
Чисто, чувствительно, гордо, лирично.
В звёздную ночь.

Стихи Олега Дозморова возмужали – вслед за его душой. Душа поэта растёт, когда больно. Теперь Олег это знает. И я за него спокоен. (Да нет, волнуясь же: думаю о нём, мысленно с ним разговариваю, спорю, соглашаюсь. Соглашаюсь – чаще).

А ещё у меня расцвела сирень. Белая-белая-белая. Второй раз цветёт. Сирень невероятно прекрасна. И она это понимает. Сирень знает, что она – красива. Она стоит так, как возносится белый дух зимы. Она почти шарообразна, густа и необъятна, как русский язык. Я могу смотреть на неё часами. А когда я дома – я слушаю её. Я слышу её белое цветение. Я слышу её красоту. Закрываю лицо руками – и чувствую, что вот-вот смогу её произнести. Произнести сирень. Землю. Небо. Красоту. И мне – страшно. Страшно и как-то горько весело от того, что можно слышать сирень и даже говорить её... Здесь, у нас на Земле, всё – язык. Наш дар и наша мука. Наше счастье и наша беда. Наш свет и наши потёмки. Наша душа и наш Бог.

Родна речь, отойди от меня,
поди прочь, не приближайся ко мне,
я боюсь сейчас твоего огня,
между тем сгораю в твоём огне.
Так садится покойник, почти встаёт
в крематорской печке, зовёт рукой,
открывает рот и почти поёт.

Что со мной, что со мной, что со мной?

Стихи Олега Дозморова

Я знаю этого коршуна

Объём и качество моего одиночества в Каменке определяется небом. Если в городах неба нет совсем, то в деревне оно прижимается к земле. Зимой его больше: зимнее звёздное студёное небо – всё – на земле: в сугробах, в садах, на серебряных заборах, на овчинных крышах, на хрустальных и слюдяных окнах, на тяжелеющих ресницах, на зябнувших плечах. Небо всюду – светом, сверканьем, белизной, высотой и ознобом... Летом – другое дело: небо то отрывается от земли, застревая в деревьях и с трудом отлипая от воды, а то и вовсе утекает вверх – туда, где его главное место, определённое гравитацией, кинетикой, оптикой и нашим мифологическим сознанием. Власть физики и метафизики летом в деревне очевидна. Кто-то или что-то затевает пасмурную погоду – и небо прижато к траве, а вот когда ведро, небо восходит в свои пределы и сгущается вокруг невидимых дневных звёзд. Если неба много – моё одиночество становится ясным и могучим. Если неба мало – оно возвращается в свои человеческие пределы, тянет душу Бог весть куда, жмёт сердце и гонит слезу – сухую, нутряную, русскую, неизбытную, золотую.

Летом в Каменке я весь во власти сочинительства и рыбалки (а это для меня одно и то же: на мостках с удочками видишь сразу два неба, так и сидишь, зависаешь между ними, прислушиваясь к себе и к мирозданию; так приходят слова, слова вместе с музыкой и ритмом, и с ознобом плечевым). На озеро я иду в темноте, ещё ночью. Пробираюсь кустами и зарослями репейника и крапивы, вознося удочки к небу – не порвать бы лески, не потерять бы поплавки. Добираешься до мостков – мокрый по пояс и весь заляпанный травинками, лепестками, веточками, семенами дикой травы. В темноте, с фонариком в зубах налаживаешь, наживляешь и забрасываешь удочки. Потом куришь, разгоняя дым ладонью: он стоит на месте, как в помещении, нет – просто и прямо в помещении ночи и мирозданья. Тёмный воздух постепенно становится серым. Вот – серое вещество света. Приближающего света. Сначала свет тёмный, потом серый, а затем уже светлый, чтобы стать, наконец, окончательно белым.

С рассветом густеет туман. Плотный. Стелющийся. Клубящийся. Сплошной. Туман лежит (вернее, стоит) на воде – и пошевеливается. В нём образуются длинные узкие ходы, с поворотами, зигзагами и кругами. Кто-то или что-то ходит в нём – сквозь него. По воде. Кто? Что? – Ясно, Кто. В сером веществе света, предсвета, досвета, архесвета можно углядеть фигуру Того. Фигуру Его. Он движется не спеша, но быстро. Так быстро, что кажется, что Он везде. Всюду. Он и есть этот туман. И пустоты в нём – тоже Он. И его коридорами ходит свет: он ещё темнее ярко-влажно-белого тумана. Но – легче его. Воздушнее. Ты чувствуешь власть Его – и над туманом, и светом, и целым Светом: в сумерках утренних земля и небо – одно, неразделимое целое. Вот – счастье; счастье видеть это. Это... Потом Он исчезает – и всегда ровно и точно на середине (в географическом центре) озера. И тогда туман начинает отделять землю от неба. Он собирается в огромные белые шары, которые, отрываясь от воды, становятся облаками. Рождение облака, вознесение его – есть чудо. Кто этого не видел – тот не жил.

Туман – власть. Власть его, что называется, испарилась. Воспарила – и пропала в бесконечности изначального неба. Нет его – и не было. А вот Он, Тот, – был. Такие дела... Становится совсем светло. И над озером появляется коршун. Один и тот же. Десять лет мы смотрим друг на друга, и он мне нравится. Да и я ему не мешаю. Он делает облёт всего овала водного зеркала – и начинает охоту. Чаще – за рыбой, которую выхватывает из воды, как серебряную ложку. Через час-полтора в небе появляется ворона. Она орёт, матерится, истерит, рыдает и нападает на коршуна, который нехотя уворачивается от картавой дуры, но никогда не отвечает ей: он мог бы убить её одним ударом клюва или когтистой лапы. Но он её не убивает. Знает, что это провокация, что сейчас налетит этих тварей штук десять, и тогда придётся туго. Он вежливо и серьёзно выслушивает вороны мать-перемать и не менее вежливо уходит выше,

выше, очень высоко, где власть этой дуры превращается в ничто. Власть – дура. Власть – ничто. Когда у тебя есть запас высоты. Высоты беспредельной и запредельной.

Поэзия – высота. И высота – поэзия. Поэзия и вообще искусство. Мой старый приятель как-то пошутил: ты, мол, заметил, что после опустошительных и сокрушительных войн, после эпидемий, мора и глада, – в России (да и в любой другой стране) всегда уцелевают, остаются в живых две социальные группы населения – чиновники и писатели. Хороша оппозиция: бюрократия и сочинители. Косноязычие и словесность. Концеляролект и литературный язык, поэтолект. Чиновники не любят писателей (как и обыватель): они НЕ понимают, Зачем и Почему эти господа пишут, а не наживают и не наслаждаются жизнью. Здесь и Сейчас.

Население России варваризируется. Визуализация информации. Гибель семантики. Текст превращается в текстойд. Речь убивает мышление – тараторят, и безответственно, все: политики, юмористы, чиновники, писательницы и дикие сочинители, работающие на рынок, на обывателя, на пошлость. От любой информации остаётся только шелуха: мнимая фактология и гламурные эмоции. Пошлость разрастается, поляризуется (от быдла до Кс. Собчак), атомизируется, крепчает в каждом человеке, в каждой семье, в каждой корпорации. Теперь все институты – суть корпорации. А корпоративный интерес – это деньги. Просто деньги. Бумажки. Власть. Недомышление масс порождает духовные пустоты, в которых усиливается гравитация зверя: недомышленники (всюду: в жизни, в судьбе и даже в поэзии, в искусстве), варвары НЕ думают – они фиксируют (визуально) всё на свете, просматривают. Российское человечество разделилось на две группы дикарей: для одних думать – это горе (от ума), наслаждение и основа / суть существования; для других – НЕ думать есть их конститутивное качество; ловчить, креативить, хитрить, денежки добывать, жульничать etc. Первые сидят по кухням, лит-объединениям, в творческих союзах (которые, правда, приказывают долго жить), в универсах, на кафедрах, в редакциях и в дешёвых кафе – думу думают: как бы так уцепиться за вечность и всё такое. Вторые считают себя хозяевами жизни. Любой жизни. Первые не замечают вторых. Вторые презируют и ненавидят первых. (Так и не удалось мне, бывшему «главному писателю» Екб, объяснить чиновникам, что есть литература, кто суть писатели, зачем нужны книги: все как один и в один голос вопрошали – риторически: плохо вам, сочинителям? – Все увещевали: затолкайте свою литературу в шоу-бизнес – вот и деньги появятся...). И все, все до одного, тянутся к власти. И протестующие (хоть камнем – но дотянуться, пощупать её, ощутить, приобщиться), и возлюбившие власть (любую: дэнги давай, дэнги!). А художник парит себе промеж небес – верхним и отражённым водою нижним – и лениво уворачивается от ворон, и легко, играючи преодолевает гравитацию зверя. И уходит в свою высоту.

Художник знает иную Власть. Власть неизведанного и познаваемо-непознаваемого.

АРИОСТ

В Европе холодно. В Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея.
О, если б распахнуть, да как нельзя скорее,
На Адриатику широкое окно.
Над розой мускусной жужжание пчелы,
В степи полуденной – кузнечик мускулистый,
Крылатой лошади подковы тяжелы,
Часы песочные желты и золотисты.
На языке цикад пленительная смесь
Из грусти пушкинской и средиземной спеси,
Как плющ назойливый, цепляющийся весь,

Он мужественно врет, с Орландом куролеся.
Часы песочные желты и золотисты,
В степи полуденной кузнечик мускулистый,
И прямо на луну взлетает враль плечистый.
Любезный Ариост, посольская лиса,
Цветущий папоротник, парусник, столетник,
Ты слушал на луне овсянок голоса,
А на дворе у рыб ученый был советник.
О город ящериц, в котором нет души, —
От ведьмы и судьбы таких сынов рожала
Феррара черствая и на цепи держала —
И солнце рыжего ума вошло в глуши.
Мы удивляемся лавчонке мясника,
Под сеткой синих мух уснувшему дитяти,
Ягненку на горе, монаху на ослиати,
Солдатам герцога, юродивым слегка
От винопития, чумы и чеснока,
И свежей, как заря, удивлены утрате...

4–6 мая 1933 – июнь 1935

Стихотворение О. Мандельштама

Я сижу над водой и над небом, над плёнкой его, обтянувшей озеро, каждую его водяную неровность и заводь. Нижнее небо толкает меня в лицо, поднимает его к небу верхнему, где коршун нарезает свои круги своего воздуха. Я знаю этого коршуна. И он знает меня.

Не зарывай

Несколько лет я работал за границей: преподавал практический русский язык в одном из университетов Индии. Студенты были разные: бакалавры, магистры, аспиранты и аутсайдеры – офицеры, инженеры, имевшие дело с российской техникой и советским оружием, а также просто люди, влюблённые в русскую литературу и культуру. Кроме обязательных по программе занятий, я проводил что-то вроде семинаров, в семейной обстановке, расслабившись, мы читали вслух (по просьбе студентов) Толстого, Чехова, Пушкина (Достоевского я не любил и не люблю), Бунина, Куприна, Лермонтова, Цветаеву, Пастернака, Юрия Казакова и Мандельштама. Ещё мы переводили на хинди и малаялам (дравидийская языковая семья, язык южного штата Керала) русские стихи – и прозой, и в рифму. Переводили так: сначала на английский (язык-посредник), а потом уже на коренной язык. Мне кажется, я нравился студентам (белокожий, бородатый, большой) и не нравился администрации («коммунист»), которая мне улыбалась и обласкивала меня, тем не менее: я приносил университету немалый доход. Моя завкафедрой и её муж учились когда-то в Москве, в МГУ и в Университете дружбы народов. Общались мы на русском языке, но я иногда позволял себе переходить на малаялам (варварский, разговорный, приблизительный), и им это очень нравилось.

Моя начальница любила показывать меня местной, столичной и приезжей, из других стран, интеллигенции: вот, мол, русский мужик, визитинг-профессор, спортсмен, классный теннисист (second – seeded в их универе + ещё 104 колледжа). Правда, перед такими party и session она постоянно и не по разу просила меня: «Юра, не говори им, никому, что ты пишешь стихи: здесь это считается несерьёзным занятием, верхом легкомысленности и латентным бунтарством». И я скрывал своё основное занятие, прикидываясь рафинированным интеллектуалом, спортсменом и мужем красивой жены, к тому же полиглотки: английский, французский, немецкий, итальянский – всего понемножку. Однако внутренне я негодовал, психовал, отчаивался: хотелось говорить – с кем угодно – о стихах, о литературе, о словесности, о культуре поэзии etc.

В Нью-Дели перед отъездом на юг страны меня вызвали к послу. Я пришёл. С ним в приёмной сидел за отдельным столом дядька в чёрном костюме (таких на флоте звали «молчимолчи»), он изучал, видимо, моё досье. Посол беседовал со мной. Всё было ровненько и прилично до вопроса: Ваше хобби? Ну, говорю, рыбалка, спорт... да, ещё я пишу стихи и даже изредка их публикую. «Где?» – неожиданно спросил в чёрном. «В СССР», – ответил я. «Всё. Вопросов нет», – резюмировал чёрный. И – меня не завербовали, как некоторых иных преподавателей, отъезжающих в индийские университетские центры. Стихи меня спасли. От разведработы. Благодарю тебя, Господи, за то, что явил меня графоманом, стихолюбом и сочинителем!

И вот первый отпуск. Мой друг, родившийся в Абхазии (мать – украинка, отец – эстонец), был абсолютно русским человеком. Он был проездом в Свердловске (это середина 80-х), и мы отправились в ресторан. (Когда я ехал из Шереметьево на такси с делийского самолёта в Москву, я заметил странную вывеску над каким-то заведением «Пектопах». Потом попалась ещё одна. Ещё. На четвёртой я сообразил, что читаю русское слово «ресторан» в ложноанглийской литерации – РЕСКТОРАН. Такие дела.) В ресторане мы крепко посидели. Метрдотель был армянином, и мой товарищ быстро подружился с ним, разговаривая с ним только по-армянски. К полуночи, когда в Централке («Центральный ресторан» или ресторан «Центральный»?) все уже изрядно выпили и расшумелись, Peter (так кличет его отец-эстонец) что-то сказал метрдотелю, и тот с микрофоном обратился к публике: мол, среди нас есть поэт, и он сейчас прочтёт своё стихотворение; тихо, мол, товарищи, давайте послушаем (я читал Peter'ы стихи, привезённые из Индии, и одно ему шибко понравилось). Официанты соорудили из двух

столиков высокий постамент, меня буквально под руки водрузили на него, и я прочёл в мёртвой моментально протрезвевшей тишине:

В этом доме был вчера покойник.
Окна – настежь, комнаты пусты.
Сядет воробей на подоконник.
Дедушка посмотрит с высоты.
Бабушка развесила бельишко.
Парится картошка в чугунке.
Спит в саду зареванный мальчишка
с яблоком надкушенным в руке.
Видит он: на кладбище копают,
старики заглядывают в сад.
Слишком высоко они летают —
мальчишки туда не долетят.

Тишина длилась ещё с минуту. А потом... В общем, окончания праздника я не помню.

В России в те поры (и до двухтысячных) меня всегда и всюду представляли так: Ю. В. Казарин, доцент (потом профессор), член СП СССР (потом СПР), поэт. Недоумения или разочарования в глазах новознакомцев я не замечал вплоть до двухтысячных годов новой эры посткнижной и тотально денежной русской цивилизации...

Словесность, филология, вообще гуманитарная деятельность сегодня в России не поощряются. Более того – вся гуманитарная сфера образования, науки и проч. редуцируется (мягко сказано), – нет: вы-тап-ты-ва-ет-ся. Кем? Чиновничеством.

Университеты отныне лишены права на самоуправление и свободные выборы руководящего состава учебного заведения (выборы вообще отменены: ректор, деканы и проч. назначаются). Даже добрейший В. И. Ленин не решился на такой акт. Университеты сегодня ранжированы на основе экономического принципа, что означает следующее: классическим университетам – конец (и фундаментальной науке тоже), а вот коммерческим вузам (и специальностям, например: «Сервис и туризм», – и этой ерунде нужно учиться 4–6 лет!) – все преференции. В дичающей стране уничтожить гуманитарную сферу науки – значит довести народонаселение (чиновничье словцо) до полной, крайней и окончательной этико-эстетической дикости.

Переход от специалитета к бакалавриату и магистратуре не должен проводиться Минобром! Минобр и ВАК следует закрыть.

Нужны новые формы управления (уж коли мы следуем Западу во всём): UGC, университетская главная комиссия (комитет), он и будет регулировать школьное и вузовское образование. Попытка захвата РАН чиновниками продолжается. Думаю, бюрократ победит. (Почему-то наши госслужащие очень богаты, они имеют двойное [тройное и т. д.] гражданство, а их дети обучаются в оксфордах; все это знают; все, кроме Генпрокуратуры, которая всё узнаёт последней). Тотальная коррупция в России привела чиновников к необходимости осуществления «петляющего креатива», т. е. запутывания, замутнения сознания нации чудовищно невежественным отношением ко всему интеллектуальному и духовному, т. н. реформами и нововведениями вроде ЕГЭ, доживания (пенсионеров «старого образца»), оптимизации, укрупнения, секвестирования и т. п. Деятельность бюрократии заключается в уничтожении непонятной и враждебной ей культуры и в перелопачивании ошмётков реальной деятельности институций, существующих 300–400 лет...

Я вернулся из Индии в 1987 г. В стране припахивало разрухой. Экономической. Сегодня в стране назревает разруха интеллектуальная и духовная. Природная нравственность фунда-

ментальной – вне прагматики и прикладываемости («прикладной») – науки поправа. Образование сведено к заучиванию речевых шаблонов и порядка нажатия кнопок (тестирование – это следствие не только «моды» и ориентации на Запад, но и болезненной зависимости всех от компьютерных программ, игр и технологий вообще). Искусство утрамбовано в шоу-бизнес. Культура рассечена на субкультурки. Человек превратился в потребительскую машинку...

А тогда, в 80-х, я вернулся из отпуска в свой индийский университет и отправился к проректору просить машину для того, чтобы съездить в полицию (40 км от Samprusá). Говорю ему, мол, я need a car to go to Police. Произношение моё было плоховатое, с редукцией и чередованием безударных гласных, поэтому произнёс я [nalís], вместо [polís]. Дравидийцы почти не различают звуки [л] и [р], поэтому проректор услышал не Police, а Paris. Но машину дал. До Бомбея (ныне Мумбаи), а там на пароме до Марселя, от Марселя до вождельного Парижа опять на университетской машине и т. д... Мы долго смеялись с ним над нашим межъязыковым казусом. Но! Машину до Парижа он давал! А у нас и на издание монографии не давали, не дают и теперь уже точно никогда не дадут.

Я не узнаю свою страну. Россию. Кто я? Чужак? Или чужие те, кто делает из неё чиновничьи штаты страны? ЧШС. Не знаю.

Тоскую. И пою. Пою романсы Дениса Новикова.

РОМАНС

Презрительным рассмейся смехом
и надо мной, и надо мной,
как над каким-нибудь чучмеком;
езжай домой, скажи, домой.
Во мне священного таланта
не признавай, не признавай,
не убивай меня – и ладно;
не зарывай, не зарывай.

Крупнее жизни

Всё чаще мне кажется, нет – я чувствую, что я умер. Всё, что со мной происходит, – это не жизнь, это нечто иное: то ли большее, то ли меньшее. Не знаю. Жизнь проживает не столько меня, сколько себя саму. Она теплеет и холодает уже как бы и не здесь, а там, где свет иной, ещё (или уже?) неотделимый от тьмы. Тот свет? Не думаю. Он слишком крупный, чтобы быть мифологически обоснованной реальностью. Это иная реальность – безумная, бескнижная и хоровая. Даже государство норовит потоптать («оптимизировать») то пространство, куда слетаются книги. Сходятся и сползаются – чтобы их прочитали не на раз и поняли. Чтобы о них написали другие книги – книги книг, которые являются потомками первых великих Книг (Веды, Тора, Библия, Четвероевангелие, Коран, – ну и, скажем, «Война и мир [міръ]»). В каждой книге мерцает и посверкивает, бликует книга книг и ещё – Архекнига. Вселенная – Архекнига. Галактика – Книга Книг. Планетарная система – Книга. Мир – это книга книг, и всё в нём – книга. И дерево, листаемое ветром, и вода, перелистываемая ветром, камнем и горой, и воздух, читаемый светом и тьмой, и человек, прочитываемый природой, и человек, читающийся человеком, и зверь, прочитанный небом и землёй, и земля, переплетённая небом, и небо, написанное Землей, Им Самим и Человеком, и пустота, истекающая всеобщим алфавитом, и Буква, явленная прозрением, отчаяньем и любовью.

Всё это, познаваемо-непознаваемое, читаное-непрочитанное, – ныне проходит, проживает и умирает мимо человека. Человека – играющего и алчущего. Человека, погрязшего в нищете и в излишестве. Бедность и Роскошь – сёстры. Сёстры-близнецы, раздирающие книгу жизни на две половины – по обложкам: передняя достаётся роскоши, задняя – бедности. Человек назвал себя гордо человечеством, которое незаметно для себя переименовал в цивилизацию. Цивилизацию, производящую утюги и оружие. Номо. Humanis. Гуманизм.

Гуманный. Гуманитарный. Т. е. – человеческий и человечный. Гуманитарная сфера человечества – мизерна. Россия, обнюхавшись нефти и природного газа, решила присоединиться к Европе и остальному миру («гуманному», см. «Декларацию прав человека», то бишь дельца: США ещё в 1950-х годах [да и ныне] не считали [и не – ют] цветных за людей; сегрегация, Чайна-Таун, Гарлем, Бруклин etc.), – присоединиться, нанюхавшись халявы, к цивилизованному миру, вытаптывая гуманитарную сферу (ядерную! центральную! сердцевинную! сердечную!) культуры, науки, образования, медицины и проч. Филология – основа всех наук, т. к. любая наука – это Слово, а филология – наука о Слове. О том Слове, которое было в начале, будет в конце и после конца. Которое было, есть и будет всегда.

Одичание, нелюбопытство, презрение к познанию (и к познаваемому), лень разума и души, когнитивное безумие и бездумье – вот черты, качества и свойства расчеловечивания. Рационально и прагматически (потребительски) обоснованное и добровольное слабоумие миллионов пользователей всего на свете уже не пугает, т. к. ты понимаешь: это уже иной свет, другая жизнь, проживающая не человека, его разум, сердце и душу, а – саму себя. Жизнь проживает жизнь. Всю. Без остатка. Что остаётся от неё? – Утюги и оружие, обращающиеся во прах. После такой жизни книг не остаётся. Памяти не остаётся. Традиции. А значит – культуры. Мы живём в посткультурном обществе.

Есть такая хорошая здоровая болезнь Горе-от-ума. Нынешнее слабоумие подслащивает всё: и горькую нефть, и вонючий газ (труба одна, а народу много: один из трубных заводов Урала понавтыкал огромные щиты вдоль трассы Москва-Восток: Всем Труба; хар-роший юмор у трубопрокатчиков!). Компьютер, интернет и ТВ делают из глазающего в экран-монитор – слепого: картинки движутся, объёмизируются (3D), тексты просматриваются, но в книгу не складываются. И всё это визуальное роскошество – цветное. Думаю, что нынче среди молодых и здоровых дальтоники нет.

Несколько лет назад со мной случилось несчастье. Беда: смерти близких, предательство и проч. Я впал в трёхлетнее отчаянье. И я перестал видеть и воображать мир – цветным. Колористика во мне умерла. Два года я не видел цвета. Не внимал их и им.

Я видел мир чёрно-белым. Закрывал глаза, пытаюсь представить озеро (голубое), небо (синее), траву и лес (зелёные), цветы (красные, синие, фиолетовые, жёлтые, золотые), – не получалось. Отчаянье моё крепло. Разрасталось. Я понимал, что уже упираюсь всем телом в непрочную оболочку безумия: это такой прозрачный шар с прозрачным белком по краю и с оранжево-алым ядром... Меня спасли Мандельштам, Рильке, Фрост, Седакова, Данте и Целан. Пробовал в те поры читать Поплавского – ржал. Ржал и рыдал над автоматическими стихами, пропахшими дурью (кокаин? морфин?). Осип Эмильевич плакал со мной.

Нереиды мои, нереиды!
Вам рыдания – еда и питьё, —
Дочерям средиземной обиды
Состраданье обидно моё.

март 1937

Поэзия вернула мне колористические возможности моего зрения. Я радугой прозрел.

25 лет я прожил в Екатеринбурге на улице имени международного Дня Женщины, Дня Весны, Дня Узаконенного Гендерного Пьянства. Напротив моего дома, как раз через эту славную улицу с трамваями и другим нерельсовым транспортом, стояла девятиэтажка (брежневка) о двух подъездах с тыльной стороны здания, серого, в потёках, унылого и без лица (у дома должно быть лицо!). Общежитие. Общага. Постоялый двор работниц медицины низшего и среднего звена (сегодня там живут выходцы из Закавказья и Средней Азии). Шли девяностые годы, серые, мрачные, пустые, с ваучерами и вездесущим Ельциным, по доброте душевной раздававшим суверенитеты, ваучеры, страну. Так и помню начало девяностых – серое. Всё серое. Работал я в университете, где – так уж вышло, мне пять дней в неделю поставили вторую пару (начало занятий в 10.40). Так что вставал я с дивана не в 6.30., а в 8.00. Пил кофе и курил у окна в своей набитой книгами комнатке, обозревая с седьмого этажа улицу женщин, весны и гендерного пьянства. И вот однажды, ровно в 9.00, как-то обратил внимание на мужичка, который именно в это время выходил на балкончик блочной системы комнат, стелил на балконной палубе (седьмой этаж, то бишь выходило аккуратно ви-за-ви) газетку, снимал штаны и становился над неизвестным печатным СМИ на корточках – и справлял быстро, но не суетливо – большую биологическую нужду. Затем он поднимался с корточек, натягивал штаны, сворачивал – осторожно – газету и бросал её вниз, в газончик, в садочек, в палисадничек, от которых до главной женского дня дороги было метров 40. Думаю, что никто, кроме меня, этого интимного акта не заметил и не видел. На третье-четвёртое утро я вооружил глаза биноклем и рассмотрел этого дядьку, так негативно относившегося к современному ему месту, времени и миру в целом. Лет сорока. Мелкий мужичонка. Тщедушный. Весь в портачках. Майка драгая (октябрь месяц на дворе!), треники рваные, морда алкогольно зависимая, глаза глубоко занырнули в череп, давно не стриженный... Почему он это делает так и на балконе? Закрыт в комнате? Нет возможности добраться до туалета, до умывальника? Ломка на сухую? Беглый? В розыске? Чья-то любовь ТАК его уберегает от вина, иглы, полиции, дружков, поделльников, кредиторов? Вот это – любовь! Задощипательная (температуры за дверью балконной нулевые, с минусом и первым жёстким снежком). Бедняга... Как тут – помочь? Безработица. Самому жрать нечего (дружок мой Саша, ныне покойный, Царство ему Небесное и Вечная Память, время от времени таскает в мой дом колбасу, сыр и консервы – сын у меня подрастает). И расплакался я. Как баба. Как пацан. Интеллигент хренов. (Потом я таких дядек, тётек, девок

и парней видел десятками тысяч в пригородах нашего мегаполиса, в промзонах, в посёлках, в сёлах, в деревнях – ваучеры как-то не помогли, что ли?).

В те постреволюционно-капиталистические холодные зимы люди («алкаши» и бездомные) гибли сотнями, а может быть, и тысячами: подъезды все заперты на железные двери, странно-приимных домов нет (и до сих пор – нет), больнички перенабиты (с коридорами и лестничными маршами) стариками, онкологическими, наркоманами и просто по-честному больными. Вот когда это всё началось. Народ наш во второй раз (после Ленина – Сталина) лишили чести и достоинства. Вот он ныне и отрывается – на иномарках (остановки с детьми и женщинами сносит), на яхтах, на пляжах. Расчеловечиться легко. Очеловечиться – почти невозможно.

Больно и страшно смотреть на людей, разбирающих помойки в поисках еды. Невыносимо больно думать о том, что осталось от школы (всё: читать-писать умеют единицы), невозможно смотреть на разрушаемые вузы, на классический университет, распиленный на институты, страшно смотреть на разрушение и обветшание фундаментальной науки (не-прикладной и бесполезной, нецелесообразной с точки зрения власти).

Я умер? Да. Я – умирал. Но... Я выжил? Я живу. В своём книжном мире, да? Такой вот придурок, не пожелавший (и при-родно к этому неприспособленный) заниматься чёрным риелторством, скупкой ваучеров, разорением рабочих посёлков и промышленных городов-городков; побрезговавший стать членом партий и чиновником. Да, я жив. Нас, таких, как я, осталось немного. Скоро мы действительно умрём. Вымрем («период доживания» пенсионеров и интеллигентов – короток). И вот тогда...

А пока мы живы... Пока мы живы – жив мир. Мир подлинно человеческий и божественный. Господи! Благодарю Тебя за Осипа Мандельштама. Он, вслед за Тобой, знал всё.

Заблудился я в небе – что делать?
Тот, кому оно близко, – ответь! —
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть.
Не разнять меня с жизнью: ей снится
Убивать и сейчас же ласкать,
Чтобы в уши, в глаза и в глазницы
Флорентийская била тоска.
Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски,
Лучше сердце мое разорвите
Вы на синего звона куски...
И когда я умру, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,
Чтоб раздался и шире и выше
Отклик неба во всю мою грудь!

19 марта 1937

До пятой музыки

В детстве я был взрослым. Не то, чтобы я чурался детей, – просто говорить с ними было не о чем. Впрочем, вру: с Гришей, деревенским парнишкой из большой татарской семьи, мы рыбачили всегда вместе и, естественно, говорили только о рыбалке, о снастях, о рыбе и о водоёмах. Обычно я забежал к Якубовым и спрашивал у тёти Зои: – Гриша дома? – Зоя оторопела, отрываясь от нескончаемых дел, и, помолчав, подумав, отвечала: – Да дня три его уже не видела... И ещё столько бы, – добавляла она, улыбаясь загадочной улыбкой кочевницы. Говорил я мало: во-первых, я был совершеннейший заика, немтырь; а во-вторых, боялся, что попытки моего говорения вызовут смех и неминуемые дразнилки. И я молчал. Я был взрослым (уже лет с трёх-четырёх), и я молчал. Взрослое детство моё распадалось на две части, параллельные, альтернативные и несовместимые (и никакой Лобачевский здесь не поможет) – на детство городское и деревенское. Полгода я жил в городе, где молчал, особенно в школе: все задания-ответы были для меня письменными; и полгода (каникулы – все болезни и выходные дни – все) я проводил в деревне у деда с бабушкой. Разговаривать я мог только с бабушкой – без напряжения и стыда. Она была неграмотная (ни читать, ни писать) крестьянка, на которой женился сын помещика (мой дед) после рождения в 1930 г. моей матери... Итак, я молчал. Молчал. Молчал. До тех пор, пока не заметил, что я постоянно говорю – в себя. Внутри себя. Во мне. И днём. И ночью. И во сне. И наяву. Я говорил в себя – но не с собой. С кем? С чем?... Однажды дед красил полы в доме. Масляной краской, которая пахла небом, иконой, воздухом иным. Я наблюдал за тем, как дед ласкает половицы – любовно и крепко – кистью. И я чувствовал, а иногда и слышал, как доски шепчут: хо-ро-шо-хо-ро-шшшо!.. Я вышел из комнат в кухню (мне было лет 5) попить воды. И вдруг... Вдруг услышал, как кто-то или что-то шепнуло в меня: – И я хочу. И я. Покрась меня, а?.. Я обомлел, но не испугался. Огляделся. И понял – говорил табурет. Старый. Обшарпанный. Самодельный. С дыркой для пальца (для переноски) посередине сиденья. Я отвернулся. Посмотрел в окно. На всякий случай перекрестился. И – понял, осознал, с кем и с чем я говорю-разговариваю, кто и что мне говорит в меня... Вещи, дома, заборы, деревья, птицы, трава, зверьё, кусты, вода, особенно когда она гладкая или когда бежит сверху вниз, свиваясь, сплетаясь в цепочку, которая ловко укладывается в любой сосуд – доверху, всклень. Всё, вся и все говорили не со мной, но в меня. И я отвечал им не в них, а – в меня. Весь мир, и я вместе с ним, говорил в меня.

Не знаю, почему, но мне и сегодня всё это не кажется сумасшествием. Безумием. Так вышло. Ничего не поделаешь... Пельмень кричит, когда его ешь? Вода стонет, когда её рвёшь веслом или ведром? Трава рыдает, когда её косишь? Дерево вопит, когда его рубят? Да. Именно так.

Сегодня понимаю, как начинается музыка. Так, как у меня 50 лет назад? Это у меня – так. У других, возможно, всё происходит по-другому.

Ребёнок находится в состоянии трансгрессии (по М. Фуко, художник, заступив в метафизические сферы, создаёт в пустоте Нечто из Ничего), когда стереотипичность (мышления и говорения) не сдерживает архетипичность миропонимания и миро-строения. Метаэмоция жизни, смерти и любви подавляет любую возможность эмоциональной энтропии, эмоционального эксгибиционизма и вообще гламуризации, стандартизации эмоций. Не отдавайте детей в школу!

Коллективно можно изучать только математику, физику и химию (хотя с физикой не так всё просто). Остальные предметы суть части словесности. Остальные предметы – интимны. Всё коллективное в детстве – это начало известных и неотвязных социальных болезней, когда коллективный человек (а ныне – корпоративный) неизбежно становится шопоголиком, киноголиком, интернетоголиком, клубоголиком, алкоголиком etc. Гуманитарно-словесные циклы

дисциплин – антропоцентричны. Мировцентричны. Духоцентричны. Поэтому сегодняшнее уничтожение (или масштабная и тотальная – редукция) гуманитарной сферы науки и образования направлено прежде всего и прямо против человека. Человека как такового. Человек – ребёнок. И он одинок. Всегда одинок в своём душевном существовании. Душевное, духовное всегда словесно. Всегда звучит в человеке. Звучит. Слово звучит – в уме, в сердце, в душе. Как музыка. Слово есть музыка. Я постоянно ощущаю наличие двух «музык»: музыки физической (звучащей во мне) и музыки метафизической (звучащей в меня и звучащей мной). Вторая музыка – онтологична, духовна, объективна и божественна.

На всякий страх есть сосны у реки,
полёт шмеля, исполненный лучами —
всё прочее возьми и отсеки
от сказанного нами.
Пусть голос лишь себя, себя возьмёт
из множества молчаний о пропетом —
над бездной, в нужной музыке без нот
себя сыграет светом.
Держась за звук, протянутый до нас,
не утрашись, о музыка в июле,
ни скрипа сосен, ни обрыва фраз
в шмелином чистом гуле.
Побудут нами берег и река,
пока полёт продлится ниоткуда,
пока полоска тёмная легка
летящему отсюда.

Стихотворение Алексея Порвина – как раз о музыке. О такой музыке, которая есть и свет, и тьма, и жизнь, и смерть, и любовь, и мир, и Бог. Поэт здесь эксплицирует знаки метамузыки. Метаэмоции, метаобразы и метасмыслы приближают нас к метамузыке, к музыке главной, к музыке, слышной не всем и не всякому.

Я крашу табурет. Выпросил у деда кисть и крашу табурет. Крашу табурет – и ему хорошо. Он молодеет. Он постанывает и даже всхлипывает от счастья. Боже, он – балдеет. Как мальчишка (из моего детства), надевающий новые кеды...

Потом я научился выбирать собеседника. Собеседников – так точнее. Ими стали вода (рыбачу с пяти лет), огонь (костёр, печь, камин), небо (от нижнего, исподнего до жирного от звёзд и пустоты), земля (особенно глина, из которой я лепил всё на свете до тех пор, пока пьяный мой папа не сокрушил всю эту мою «выставку херни»), воздух, из которого состоит всё на свете – от воды до звёзд. Думаю, что словесник, художник должен сначала духовно, ментально и эмоционально освоить эти стихии, эти метапредметы и метавещества перед тем, как начинать прикасаться к архевеществу, к археквантам («частицам, клеткам Бога»), прежде чем не имитировать вербально, но вербализовать метасмыслы. Архесмыслы. Божественные смыслы.

РЕКА – ОБЛАКА

Ресница твоя поплывёт по реке,
и с волосом выюн,
и кровь заиграет в пожухлом венке —

и станешь ты юн.
И станешь ты гол как сокол, как щегол,
как прутья и жердь,
как плотской любви откровенный глагол
идуших на смерть.
И станешь ты сух, как для детских ладош
кора старика,
и дважды в одну, как в рекламе, войдёшь —
и стерпит река.

И стерпит земля, небо, вода, воздух и огонь – тебя. Вот о чём здесь говорит Денис Новиков. И ты – стерпишь этот мир, как терпит и стерпливает его мир иной, уже посетивший тебя и говорящий – в тебя.

Человек – универсален. Если он способен существовать в контексте природы и в контексте общества одновременно. В контексте природы все равны. Все разные, но – равные. В контексте природы предметно-личностная валентность отсутствует. В обществе такая валентность лежит в основе прежде всего множественной сегрегации: сегрегации социальной, экономической, политической, а главное – этико-эстетической, когда валентность толпы погашает в человеке универсальность. Созревание слуха, зрения, голоса и т. д. Стереотип убивает стереоскопичность разума, сердца и души. Недавно в одном из интервью меня спросили: вот, мол, город выделил 5–6 млн. руб. приглашённому на День Города Киркорову, – а кого бы Вы пригласили? – Отвечаю: – Земфиру. Кто-то и что-то (Нечто) поёт в неё – и мы слышим Вторую Музыку.

Есть ли третья, четвёртая и т. д. музыка? Наверно, есть. Поэты не регламентированы набором нот, давлением стиля и моды. Они могут расслышать и пятую музыку. Музыку, звучащую в поэта. Как много музык в Боратынском, в Пушкине, в Тютчеве, в Мандельштаме, в Ахматовой, в Заболоцком, в Седаковой! Поэт – сам – музыка.

играли себе, собирали цветы.
это было в начале.
названия возникали из пустоты
и пустоту означали.
пониманье как смерть приходило ко мне.
я ложился в траву, безымянный.
голова подключалась к земле,
становилась легкой и пьяной.
и опять мы играли, и нас, дураков,
прибавлялось.
дул бессмысленный ветерок,
пустота повторялась.
сколько наших костей, сколько лет.
не собрать. собираю.
я смотрю на закат – как на фотопортрет.
узнаю. забываю.

Стихи Владимира Беляева – стон, исходящий из поэта, в которого говорит та самая, Вторая Музыка. Иная. Подлинная. Первоосновная. Главнопричинная. Архевещество Вселенной. Проникающие в жизнь «частицы Бога», первокванты, архекванты души и тела...

Табурет стал новым. Я вышел на крыльцо и сказал в себя: пора на рыбалку. Самодельная удочка (удилище сосновое, тонкое, крепкое, дешёвая леска и перьевой, тоже самодельный поплавок, крючок № 4 и т. п.) хранилась на поленнице дров, на огороде (или «огородчике», т. к. главный огород – 12 соток картошки – отстоял в стороне, в паре вёрст отсюда); там же, на дровах, стояли алюминиевый бидончик и пустая консервная банка для червей. Я зашёл на огород и увидел кота Васю, чёрного, немножко сивого уже от старости. Он услышал моё «Пора на рыбалку» и ждал, чтобы сопроводить меня до озера, чтобы присесть на травку в сторонке, куда я иногда бросал ему пескарика. Вася всегда ходил на озеро со мной: он шёл впереди, не оглядываясь, но повернув уши назад – ко мне. Он шёл и приговаривал время от времени: – Про рыбку-то не забудь, парень, да?.. Я накопал, точнее – копнул червей – и пошёл за Васькой в гору, за ограду, к озеру, замирая от счастья предстоящего одиночества, когда вода смотрит неотрывно в тебя, а небо в тебя говорит.

2014

Война в войне

Россия – страна телескопическая (как, наверное, и другие страны – государства). Множественная природа РФ (и СССР, и РСФСР, и Российской Империи тоже) очевидна не только в экономическом, политическом и вообще социальном отношении, но и прежде всего – в культурной сфере. Утверждаю: ядро русской / российской культуры (словесность, искусство и фундаментальная наука) всегда существовало и функционировало в подпольном, полузапрещенном или – чаще – в запрещенном виде. Именно «виде», а не «форме»: форма, например, написанной и пишущейся в стол литературы отсутствует – её не печатают, не публикуют, не изучают, – всё это – обретение книжной формы, происходило и происходит постфактум. От протопопа Аввакума до Н. И. Новикова (первого свободного русского журналиста 18 в.), до А. Н. Радищева, А. С. Грибоедова («Горе от ума» было опубликовано более чем через полвека после смерти своего автора – драма / комедия в стихах стала первым массовым образом русского / российского самиздата), до Д. В. Давыдова (гусара, партизана, кавалерийского полковника и баснописца), до прозы О. Э. Мандельштама, до А. И. Солженицына. Именно с книжкой последнего я чуть было не погорел. Чуть было не «спалился». Бродского, вообще поэзию и в том числе серебряного и начала свинцового века, Булгакова, Платонова и др. мы читали тайком (и это было не так уж и давно: в семидесятые годы 20 в.!), передавая друг другу перепечатки текстов на папиросной (чаще) бумаге (седьмой экземпляр из пишущей машинки был уже размылен, но всё ещё «читабылен»). Однажды Дима В. (в обмен на «папиросные» стихи Мандельштама) дал мне почитать (на сутки – это было по-божески, как правило, давали читать такие вещи «на ночь») «Ивана Денисовича» Солженицына, книгу запрещённую и изъятую из всех библиотек в издании серии «Роман-газета». Шёл 1976 год. Я – студент филфака, первокурсник (это ещё до Игоря Сахновского, который присоединился к нам на втором курсе и с которым мы 4 года просидели за одной партой). Читал я «Денисыча» прямо на «парах», на лекциях, держа книгу (точнее, журнал) и пряча её в минуты шухера – опасности в парту – в отделение для портфелей (в те поры в рюкзаках носили картошку или ходили с ними в походы и на рыбалку-охоту). Так и шло: читаю – не читаю, хоронюсь, а книжка ходит туда-сюда с колен в парту и обратно. Когда «Денисыч» нырнул в стол очередной раз, – прозвенел звонок. Я вышел со всеми из аудитории (а. 417 на философском) – и забыл-оставил-проворонил «запрещёнку» в парте. Вспомнил я о «Денисыче» только дома, на Уралмаше, в полночь... Господибожетымой! Я – попал. Или – «влетел», «опарафинился». Книгу найдут или уже нашли (второе – очевиднее и вероятнее). Вычислят факультет, курс и группу по расписанию. Опросят – допросят. Конечно, признаюсь. Скажу, книга моя, от деда досталась. И – меня тихо или громко вытурят из универа. И пойду я, властью палимый, к такой-то матери...

Ночью не спал. Отгонял видения: комитет ВЛКСМ, партком УрГУ, ну и просто Комитет. Волчий билет... Бедная моя мама! Она с ума сойдет: и в армии у меня было не всё гладко, не шероховато, а разухабисто и горячо, и в университете («в институте», как говорила мать) – дело швах. Вах! – везучий я, да?..

Утром в 7.00 (за 2 часа до занятий) я был «под колоннами» – у огромных дверей, барских дверей в храм науки и в мой ад. Я постучал. Я позвонил. Открыл Миша, ночной безумный сторожака. Как-то я дал ему рубль – он был невероятно беден и несчастен. И он меня помнил. И – впустил. Через 40 секунд я был на четвёртом этаже в 417 аудитории. «Денисович» был на месте. Одна ночь Ивана Денисовича прошла спокойно для него и спасительно для меня. Такие дела.

Так мы жили. Так и живём. Политическая цензура сменилась цензурой рынка.

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,

Как подкову, дарит за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него – то малина,
И широкая грудь осетина.

О. Мандельштам погиб из-за этого стихотворения. Он погибал долго – пять лет. Нынче времена иные – «вегетарианские», как говаривала А. Ахматова. Но к цензуре рынка сегодня приросла цензура иная: цензура пошлости (толпа), цензура лицемерия (власть), цензура целесообразности (политика) и т. д. Страна распалась не только социально (нищие – бедные – бизнесмены – чиновники – олигархи – правители), но и геополитически; сегодня на территории РФ существует несколько «стран»: Россия – 1 (главная), назовём её не Москва, а INMKAD (все деньги РФ сосредоточены в имперской казне и, соответственно, в кошельках и кошелёках бизнеса и чиновничества), здесь даже искусство – добровольно – стало крепостным: музыканты, певцы, живописцы и т. п. живут «чёсом», корпоративами и прочей дешёвкой; словестность беллетризировалась и работает на Рублёвку, тусовку etc., – назовём такое искусство и такую «литературу» – нижепоясными («поющие стринги» и пишущие гениталии); Россия – 2, это метагосударственное образование, нависшее над всей страной, над Россией реальной, над РФ, – Соединенные Штаты Чиновников (СШЧ); Россия – 3, Россия денег, рынка, силовиков, коррупционеров etc.; Россия – 4, страна гастарбайтеров; Россия – 5, или Сочи – Россия, страна Олимпийского Огня, страна всероссийских мероприятий международного и всемирного масштабов по «распиливанию» бюджетных целевых средств; Россия – 6, а это – «Россия, нищая Россия» – самая стабильная страна в стране; Россия 6 + n, РФ (и СССР, и Российская Империя) – государство мобильное во всех отношениях, имеющее десятки своих вариантов – реализаций и функций.

Сегодня в России идёт война. Война культурная, священная война. «Посткнижная культура», переходящая в следующее своё состояние посткультурного пространства, убивает (с помощью власти) литературоцентричную культуру. И. Бродский предсказывал войну культур с различным этно-религиозным содержанием (она уже идёт), но внутри этой глобальной войны протекает война сердцевинная. Война культуры и пошлости (толпяной, денежной, рыночной, государственной). Война в войне.

Удушение русской словесности сопровождается фронтальными, фланговыми, тыловыми и вертикальными (сверху) массированными ударами по гуманитарной фундаментальной

науке. Насильное реформирование высшей школы (после ЕГЭ – роботизации средней школы), её разрушение, стирание её демократических и либеральных (свободолюбивых) основ (выборов, ректоров, деканов, разрушение факультетов, кафедр и т. п.), редукция набора студентов на филфаки, истфаки и философские факультеты (в Челябинском университете в этом году не было набора студентов на филфак! – отменили чиновники; ну да, их дети учатся в сорбоннах и кембриджах, их российские вузы не интересуют), сокращение штатов ППС и т. д. и т. п., – всё это приводит (уже привело) к тому, что гуманитарная сфера науки и образования снизилась почти до нуля («нулевизация» – термин Минобра).

Однако гуманитарная сфера фундаментальной науки есть территория формирования и воспитания универсального научного мышления. Без этой сферы не было бы ни Платона, ни Пифагора, ни Коперника, ни Эйнштейна, ни Лобачевского, ни Н. Бора, ни П. Капицы, ни Л. Ландау, не говоря уже о Паскале, Спинозе, о немецких философах, о великих филологах-мыслителях и др. Любой ученый-естественник есть философ, филолог, историк и в целом словесник. Слово – это носитель этики, эстетики и научной семантической точности, а с другой стороны – стереоскопичности знаний (когнитивный аспект семантики, значения слова). Гуманитарные фундаментальные науки прежде всего – нравственны. Именно этого и боится власть. Власть – любая. Вольнодумство (то бишь нравственность) сегодня попирается, вытаптывается, газоманами и целесообразниками-прагматиками, а главное – поклонниками и служителями денгиологии. Философия, история, филология сегодня власти не нужны. Вольнодумие, вольномыслие, добромыслие и великодушие (всё это – основы нравственности социальной) – не пахнут нефтью и деньгой. Любовь к нефти и газу – вот признак временщика. Стыдно смотреть социальную рекламу «Мы первые в мире по добыче газа и т. д.», – осознавая и зная, что сельская Россия (Россия – 6) не газифицирована до сих пор. В России нищей газа нет. В городах есть. Не во всех, конечно. А в посёлках, сёлах и деревнях – нет. И не будет. Никогда. Почему? Потому что деньги бюджетные тратятся на сверхвысокие зарплаты и пенсии госслужащих (пенсия от 40 тыс. руб.!). Мужик, отпахавший на заводе 45 лет, получает пенсию 8–10 тыс. А невольнодумец чиновник – 40 тыс. Ножницы. Инструмент, вообще-то, режущий и колющий. Почему богатей, проторчавший и пробизнесовавший недолгое время в министерствах или в депутатах, как пенсионер богаче в десятки раз профессора, водителя, инженера и рабочего?! Почему полуграмотный чиновник не чета инженеру, учёному, механику, слесарю и врачу? Кто так решил?

Художнику – легче. Он живёт в России и Культуре. Он создаёт Красоту. Труднодоступную. Редкую. Подлинную. Способную противостоять пошлости. Пошлости толпы. Толпы, которая пользуется готовой красотой, красотичей – глянцевою, гламурной. Толпы, насыщающейся готовой информацией – занимательной, аттрактивной, пустой. Художник – творец. Или – досотворитель мира. Нехудожник – креативен. Его петляющая креативность мутна и однообразна (гламур, кровь, секс, прикол, толпа). Он питается готовыми образцами асемантической информации (сплетни, слухи, понты) и популярной, а значит пошлой красотичкой. Главное в человеке – разум, сердце и душа. А не желудок, гениталии и социальные амбиции, производящие на свет столь приятные и вкусные микроэмоции. Человек (подлинный, нерасчеловеченный) – онтологичен (он есть часть бытия – мыслящая и страдающая, т. е. духовная) и метаэмоционален: он проживает не то, что проживает его, а то, что живёт им – Жизнь, Смерть, Любовь, Бог и Вечность.

Художник – человек. И нечеловек. Одновременно. Если с нехудожником происходит смерть (жизнь «умирает» его), то с художником происходит божественное расчеловечивание, когда человек в художнике умирает – и остается то, что я называю Нечто. Это Нечто крупнее всего на свете. Крупнее нефти, страны, власти, денег и любого авторитета. Нечто – это то, что крупнее себя самого: Нечто крупнее Нечто. И стереоскопичность войны, её телескопичность

(выдавливание войны из войны, из которой выжимается новая война) исчезает. Исчезает вместе с ней самой. Исчезает вместе с плотью и прахом.

Эзра Паунд создал великое стихотворение (даю его в переводе Ольги Седаковой). Оно как раз об этом.

PARACELSUS IN EXCELSIS

Уже не человек, зачем я буду
Прикидываться сей эфемеридой?
Людей я знал, и как! Никто из них
Еще не сделался свободной сутью,
Не стал простой стихией – так, как я.
Вот зеркало исходит паром: вижу.
Внимание! Мир формы отменён
И очевидный вихрь смысл предметы.
И мы уже вне формы восстаём —
Флюиды, силы, бывшие людьми,
Подобно изваяньям, в чьи подножья
Колотится безумная река,
И в нас одних стихия тишины.

Бродский похоронен недалеко от могилы Эзры Паунда. Рядом могила Стравинского. Рядом с Венецией на острове Сан-Микеле.

Острове мёртвых. Точнее – бессмертных.

Голое имя

Снежное поле. Метель. Входишь в сугроб – и проваливаешься по самое не могу: не идешь, а бороздишь, прешь, разрываешь многослойное вещество взрослеющего снега – все его слои и фракции, – лед, сыпучка, плиточник, нечто плотное – почти известняк, и опять сыпучее не как песок, а как горы граненого хрусталя, а сверху всех этих корочек, корост и текучестей – нечто скрипучее, крепкое, визгливое, стонущее, скрипичное и поющее. Так и плывешь в этом месиве, чувствуя, как валенки набухают, набиваются снегом в голяшки и как под стопой, особенно под пяткой, затвердевают и похрустывают теплые, жгучие, влажные ледяные пятки. Борьба с полем, со снегом, с сугробом как-то сама собой переходит в привычку, и ты, пытая и посапывая, уже понимаешь, что – плывешь. Жизнь прожить – не поле переплыть. Плывешь, плывешь, плывешь – и начинаешь ощущать себя частью этого поля, этой стихии: поле в метель – само по себе пол, стены и потолок. Поле в метель – облако. Оно как хорошая книга: сначала цельное и непочатое, потом трудное и неподъемное, а затем... вдруг становится частью тебя, твоих мыслей, потому что плывешь ты всегда – думая. Оно часть неба – и к земле уже имеет весьма косвенное отношение: разве что ледком надземельным и подпяточным. Валенки – корабли. Плывуче-летучие. Так, бредя уже час-другой, осознаешь, что уже не плывешь в этом немереном снегу – а летишь. Потому что поле – уже небо. Часть неба. И ты часть неба. И, проплывая эту белую часть неба, ты читаешь ее и себя, особенно себя и ту большую, значительнейшую часть неба, которая остается вне твоего движения.

Плыть в снегу – значит читать. Читать поле, метель, время. Снежное поле еще и аудиокнига: оно говорит, поет и звучит ветром, метелью, снегом поющим, струнным, дыханием твоим и мыслями – уже не только твоими, но и – поля. Поле мыслит тобой. Как книга думает читателя и читателем, так и поле мыслит тебя и тобой: ты и плывешь по снежному полю, как мысль; мысль – не твоя. Мысль поля.

Снежное поле – книга. Она открывается зимой и снегом – небом. Она листается метелью, зверем и человеком. Она пишется сама собой – архетипическим даром. Даром жизни, погоды и неба. Книга поля в деревне – всюду. Лежит целехонька и нова. В городе она превращается в грязь – поди поплавай в ней! Её убирают и рапортуют: пять тысяч снегоуборочных агрегатов и т. д. В деревне снежное поле – кровельное, огородное, заборное, столбовое, наличниковое, крыльцовое – любое – написано птицами и зверьем. Исписано или прочитано? Сначала белизна и чистота, видимо, прочитывается, а затем сороки, синицы, вороны, сойки, снегири, свиристели, клесты, шуры и поздние дрозды, а также коты, зайцы, собаки, хомяки, волки, мыши и лисы (а в лесу кабаны, лоси и косули) пишут на снегу ответ. Что-то вроде: «Прочитанному, а также сей белизне и чистоте – верю». И никому в голову не может прийти мысль запретить эту книгу. Или – отредактировать. Или переписать. Или – снять ее к такой-то матери ножом бульдозера. Никому. В голову. Не придет.

Все, что создает человек, – архетипично. Или – почти все. Цивилизация и культура архетипичны: они следуют природе. Или не следуют. Цивилизация увлеклась сама собой: общество, политика, власть, деньги и прочие фантомы и фетиши – разрушают архетипическую, или природную, сущность деятельности человека. Деятельность природы, стихий, зверя – архетипична. Деятельность политика – антиприродна. Власть, известность, деньги с точки зрения дождя, снега и ветра – ничто. Человек с точки зрения природы – часть земли, неба и духа. Человек с точки зрения политики, социальности и финансов – реорле, потребитель, хаватель всего на свете, всего, что модно, вкусно и... ну и бесплатно, что ли...

– Мне бы это, водки дайте, а? – А вам какой? – Ну, мне этой, ну, той, которая побесплатнее... Пейзаж человечества. Пейзаж человека. Все – типизировано и подчинено технологиям. Один питерский митёк нарисовал картинку «Возвращение уха Ван Гогу». Да-а-а. Как бы вот –

ну уже не обывателю – а хотя бы художнику совесть вернуть. Человек говорящий и слушающий (в широком смысле) превратился в человека смотрящего.

Смотрящего в монитор, в экран. Господибоже тымой! – да посмотри ты в окно, а?..

Появился тут новый термин «кинолексика», ну, то бишь есть язык кино, и, естественно, в нем есть кинофонемы, киноморфемы, кинолексика и киносинтаксис. Только вот текста нет. Всё кино (за редким исключением) – это один типовой, хронологически ограниченный, семантически плоский текст. Вернее – имитация текста. Стыдно смотреть такое кино – от Голливуда и арт-хауса до телевидения, сериалов и интернетных роликов («Я-а-а-зъ! Я-а-азъ!!!») и рукодельного видео. Все это – прикольно. И к душе никакого отношения не имеет. Вот сижу я и слушаю мелолексику (музыку), смотрю на настенные изолексемы (картины, гравюры), переживая в себе биолексему, химиолексему и в целом физиолексему, находясь и проживая в деревянной архитектурной лексеме. Гляжу в окно-лексему и вижу снег. Есть такая лексема «снег». Предмет «снег» имеет понятие и денотат (образ предмета) – имеет его в головном мозгу языкового существа. Вот и все. Такие дела.

Панлингвистическое представление мира, основанное на семиотике и на семиотическом (знаковом) видении всего на свете, – примитивно. Почему? Потому что в природе и в мироздании есть знаки неноминируемые. Они суть абсолютные знаки без какой-либо индексирующей, иконической и символической нагрузки. Например, СВЕТО. БЕЗДНА. БОГ. ТЬМА. ДУХ. ВЕЧНОСТЬ. И т. д. Эти знаки, как и природные феномены стихийного происхождения и стихийной функциональности, – имеют только имя. Голое имя. Чистое имя. Имя из белизны. Как снежная книга и как белое нечитаное поле. Огонь, вода, воздух, небо, дерево, земля, камень, глина и др. – вот сущее через названное. Названное Никем. Повторяемое всеми. Божественная номинация (т. е. неизъяснимая [нет, этимология здесь, естественно, есть, но презентология и футурология здесь куда очевиднее], самовольная и самопроизвольная, чудесная, магическая; номинация неизъяснимого, но и неотторжимого от того, что мы называем Жизнью, Смертью, Любовью, Богом, Языком и Душой), Богом данная, дареная номинация. Одним словом, имя белизны.

Нет, всё не есть язык, и язык – не во всем. Есть сущности – больше и выше языка. И здесь не язык бессилен, а мир божественен, загадочен и неназываем... Сегодня позитивизм (экономический, политический и финансовый прежде всего) доминирует во всех сферах. И в искусстве. В кино, например. Только словесность, ее подлинно поэтическая часть, – вне прагматики, вне денег, вне безумного социального мира.

Мир перестал быть книгой. Когда это произошло? Думаю, в конце двадцатого века. Мир социальный «преобразился» в периодическое издание. Был книгой – стал журналом. Таблоидом. Гламурным. Глянцевым. Желтым. Гендерным. Etc... Произошла подмена: артефактуальный и социально адаптированный, актуальный мир (как предмет хотя бы наблюдения – не познания!) вытеснил натурфактуальную сферу жизни на периферию «визуального сознания», или фиксации, или – констатации. Духопроизводящие основы бытия свелись к системе микроэмоциональной деятельности, которая, в свою очередь, стала покадровой сменой различных эмоционально необязательных, но приятных состояний. Так метаэмоциональность души была опрощена до микроэмоциональных типовых состояний / ситуаций нервной системы горожанина (и не только его). Душа померкла, уснула, умерла. Чтобы – не страдать. Душа страдающая и болящая позволяет сознанию (и всему существу человека в целом) не столько опознавать, сколько познавать мир. Познание редуцировалось. Остановилось?.. – Не знаю. Уверен, что художественная и научная словесность все еще находится в процессе познания, а не оценки и выбора, чем сегодня по определению занята гламурно-технологическая цивилизация.

Когда я слышу авторское чтение стихов, я воспринимаю прежде всего просодию. Музыку. Языковые коды стихотворения входят в меня как некое фоновое, неосновное вещество. Как back-sound. (В поэзии смыслы – звучат.) Если в стихах есть музыка (интонация, грамматика,

ритм, синтаксис, строфа как единица симфонического характера, голос и т. п.), я их потом нахожу – и читаю с листа. Это происходит примерно так, как с Высоким: сначала слышишь, потом видишь, а затем синтезируешь в себе стереосемантику пропетого стихотворения. Из всего, что я слышу в последние годы (а это лет 20–25), подлинным поэтическим оказывается 1 % из всего произнесенного и продекламированного. Что же делать с остальными 99 %? – А ничего:

пусть будут. Пусть их пишут. Авторы. Лучше пусть пишут, чем бегают по ночам с топо-
риком. Надсон и Раскольников. Нет, лучше Брюсов и Раскольников. Представим, Раскольни-
ков, загнанный в угол жизнью и судьбой (и собственной русской дурью и безбашенностью), –
начал писать. Стихи. Мощные. Страшные. Прекрасные... Ан нет: не поэт. Родион Романович –
обыватель и одновременно представитель и потребитель черного, мрачного романтизма. Он,
сволочь, позитивист. Вот и меняет мир. Рубит его под корень, и ствол дерева валится ему на
башку. Раскольникова убил город. Современную цивилизацию сожрали города.

Город – стихия рукотворная. Эдакая буря ассимиляции, давления, несвободы. Современ-
ный город – это офис с пристроенными к нему квартирками. И действует здесь закон необяза-
тельной обязательности. Социально-актуальное пространство города порождает несчастных: если
у человека есть дар, талант, то они будут изуродованы и в конце концов уничтожены амби-
цией. Амбициями. Пиаром. Автопиаром. Эстетическим эксгибиционизмом. Эмоциональным
нарциссизмом. Такие дела.

Город – не книга. А то, что не книга, то – бессмысленно. Поэтому город любит запрещать
книги. Потому что город – это власть, политика, деньги и прочее фуфло.

Человечество, цивилизация – сущности в основе своей обывательские, потребительские,
стадные, корпоративные и амбициозные. Человечество (как и цивилизация) не стало книгой. И
уже не станет. Человечество отказалось от слова, отреклось от него: слишком сложное оно, это
слово, полиформальное и стереосмысловое (вспомним политиков: «перезагрузка» [отношений
двух государств] – «перегрузка», – оговорка по Гитлеру-Сталину;

а ведь все смеялись, и ни у кого морозец спину не дернул – а зря: сегодня РФ, США
и Китай находятся на грани реальной войны – экономическая и проч. уже давно происхо-
дит). Человек предал слово, и оно закрылось для него. Слово сегодня почти ничего не номи-
нирует – оно оценивает и «прикалывает». Безответственность нашего поведения есть послед-
ствие отказа от строгости, точности и силы (Божественной) слова. Человечество шло к этому
безответственному, полунемому и бессловесному состоянию долго, запрещая книги и уничто-
жая писателей (да и сегодня: посмотрите, КОМУ вручается Нобелевская премия – в основном
политически и социально-актуальным обусловленным writer'ам). Большая часть лучших книг на
планете Земля прошла, претерпела стадию запрещения. Библия. Коран. Новый Завет. Талмуд.
«Демон» Лермонтова. «Житие пророка Аввакума». «Оливер Твист». «Архипелаг ГУЛАГ».
«Горе от ума». «Белая гвардия». «Мы». «Скотный двор». «Бойня номер пять, или Крестовый
поход детей». «На западном фронте без перемен». «Хижина дяди Тома». «Крейцера соната».
«Лолита». И еще тысячи книг, написанных в разное время и в разных странах... Не значит ли
это, что человечество боялось слова, книги – всегда? Да. Именно так. Человечеству милее ими-
тация слова, а также «реализация» слова в иных формах и форматах: слово хореографическое,
кинематографическое, вообще визуальное и т. д. Человек изобрел (и далее совершенствует)
визуальное слово. Не графическое, не письменное (тоже визуальность, но обусловленная иди-
оматикой формы и содержания лексики), но иное слово – слово в картинках. Такие дела.

Недавно знакомый издатель передал мне рукопись книги журналиста А. М., который
собрал аудиоматериалы, касающиеся жизни Бориса Рыжего. Рукопись небольшая. Исполнен-
ная непрофессионально. Рукопись неструктурированная, нерубрицированная и т. п. Она вклю-
чала в себя расшифровки бесед (и переписку) А. М. с теми, кто знал Бориса Рыжего. Это
были исходники, нередактированные, сумбурные и нецельные – фрагментарные. Более того –

они (исходники), все эти разговоры, диалоги и монологи, – были анонимными (естественно, я «угадывал» авторство высказываний, потому что знал их всех (или почти всех) лично, а также потому, что журнал «Урал» (2011, № 5) опубликовал часть той подборки опять же в урезанном (благопристойном) виде в канун десятой годовщины гибели Б. Р.). Рукопись уже знали (и, видимо, читали) в редакции, в университете, в горном, в городе. И почти все в один голос говорили: издавать нельзя: много грязи, дрязг, мишуры, желтизны и подлости. Да – подлости... Я читал рукопись всю ночь. Осторожно. Медленно. Равнодушно – что стоило мне огромных усилий. Итог: я был потрясен не столько безответственностью и глупостью, или непрофессиональностью, или неграмотностью, или неэтичностью etc. автора-собиранителя книги, сколько опять же безответственностью и мягкой, доброй, улыбчивой подлостью воспоминателей. Не всех, конечно. Но – многих. Их в книге – большинство. Если эту книгу издать – то выйдет интереснейший, но неоригинальный памятник подлости, пошлости и онтологической безответственности. Б. Рыжий – поэт. О Б. Р. как поэте внятно и убедительно (и с болью) говорил только один человек – Олег Дозморов (о родственниках ничего не скажу: это святое). Остальные, и в том числе дамочки (писатель Арсен Титов таких называет «матроночки»), – все похохатывают да оглядываются. С опаской. Оглядываются – на смерть.

А за окном – метель. Она листает поле, прижимая к оконным стеклам снежные пласты, страницы, которые не мнутся и, отпрянув от окна, укладываются обратно на свое место – в поле. Сейчас я встану из-за стола, надену валенки и войду в поле, чтобы переплыть его, обить снег с пимов и зайти в магазин, где буханки хлеба стоят на полке, как книги.

Вкус глины

Машину занесло. Сначала потащило носом влево, а затем она скользила по шоссе боком. Потом вдруг, словно опомнившись и встряхнувшись, наша «Рено» (небольшая, компактная, «дамская») начала кружиться, причём множественные фуэте преобразовались в вальс, и я безотчётно, бессмысленно и произвольно начал считать: раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три... Водительша моя выворачивала руль то по ходу вращения, то против него, а я пробормотал: «Тормоза – не трогай...» – Я был занят уже не автовальсированием, а непосредственно и только собой: во рту появился привкус глины, на грудь налип влажный и ледяной пласт глины, в ушах запричмокивала глина (дождь, каблуки), в глазах стояла глина – глиняный гололёд (– 17 °С), глиняные снежинки, слетающие к заснеженным фарам, глиняные обочины, обозначенные невысоким глиняным сугробом. Глина. Глина. Глина. Могила. Да? – Да: сейчас нас разнесёт и размажет лесовоз. Их тут много. Прут брёвна по дороге через деревню Черемшу в Ревду и её окрестности (Хомутовка! – вспомнил я: моя любимая деревенька – хуторок к северо-западу от Ревды). Периферийным «морским» зрением я искал – ждал горящие мокрым грязным золотом фары, и слева, и справа. Их, Слава Богу, не было. Нам пока везло. Мы вальсировали на шипованной резине уже метров 150, горка иссякла, и на ровном участке дороги машину крутнуло ещё раз в заключительном – финальном фуэте, и мы припечатались к сугробу правым бортом, кормой вперёд. Марина молчала. Я молчал. Кто-то над нами, вокруг нас и в нас произнёс долгое «да-а-а-а»... Мы вышли из машины – как сошли на берег. Покачивало. На твёрдом и незыблемом всегда качает после долгого плаванья. Марину трясло. Это её первый полууправляемый занос. Я закурил. И понял, откуда мы вернулись... Отдышавшись, мы поехали дальше, уже по Шалинской дороге. Вернее, не мы. А другие мы. Иные мы. Обновлённые. И я в очередной раз осознал, что умирать не страшно. Страшно остаться где-то в иной и абсолютной пустоте без музыки и стихов.

Катастрофа. Человек в катастрофе. Разум в катастрофе. Душа в трагедии. Человек смертен, и уже потому небеспечен. Всё смертно. Только смерть бессмертна. И этот онтологический эсхатологический плеоназм не даёт разуму ни покоя, ни пресловутого абсолютного счастья («На свете счастья нет...»). Катастрофичность бытия очевидна, но жизнь, полная энергии разума, души и сердца, умеет превращать катастрофу, конец, гибель, смерть в нечто разовое, эпизодически неизбежное, но преходящее в силу математической иллюзии: смерть – феномен одноразовый. А живёшь-то многократно: и биологически, и психически, и интеллектуально, и духовно, и вообще ментально и метафизически, а значит – онтологически, одним словом, все эти жизни происходят одновременно! И мощь этой витальной сущности – неизмерима.

Катастрофа – сущность (явление, процесс etc.) многовидовая и полиаспектная. От катастрофки личной, бытовой, межличностной и метеорологической до гибели цивилизации и Конца Света. Апокалипсис – категория гиперболическая, т. к. Конец Света обещает наступление Нового Божьего Понедельника. О. А. Седакова говорит, что мир кончался уже много раз и что пора подумать о том, что начинается. Действительно, сознание наше болеет катастрофизмом. (Другое дело – трагизм и трагичность мышления, особенно художественного и научного сознания). Сознание – больно. Но и о-сознать – больно. *Что осознавать? Где осознавать? Когда осознавать? Ради чего осознавать?* Бытовое сознание – зооморфно. Бытийное, онтологическое сознание – спиритоморфно, то бишь духовно, если не божественно.

Катастрофа – движитель жизни, энергии душевной, надежды на... счастье. Катастрофы – и мизерные, и глобальные – обуславливают, организуют, детерминируют, структурируют, систематизируют и, напротив, открывают настежь наше сознание. Любой уровень сознания ориентирован одновременно на центр, на онтологию, а с другой стороны, на Конец Света. Катастрофизм бытового сознания (ожидание Конца Света) повышает покупательский интерес

к предметам питания (соль, сахар, крупа, сухари, консервы), медицины (лекарства, перевязочный материал и т. п.), освещения (свечи, фонари, спички, зажигалки, генераторы, аккумуляторы, батарейки и проч.), одежды (нижнее бельё, ватники, сапоги, валенки, постельное бельё) и т. д. и т. п. Катастрофизм социального сознания приводит к атомизации общества, населения, вообще обывательской массы. «Привычный полусон сознания» (О. А. Седакова) сменяется пробуждением прежде всего биологического начала (инстинкт самосохранения). Полусон, полуглухота, полуслепота сознания – обычное состояние человечества. Так есть. Ничего тут не поделаешь. Социальное и бытовое сознание дружат. Они любят друг друга до синтеза, до полного слияния в одно «островное» целое. Острова кланов, семей, корпораций, сообществ – дивный архипелаг. А корабль плывёт (вспомним Ф. Феллини). И командир, капитан, устанавливая основную цель и задачу плавания – похода, вынужден или силой, или подачкой уговаривать подчинённых делать то-то и то-то. Старпом даёт взятки штурману, боцману, командирам боевых частей (БЧ) или позволяет им обдирать морячков. Сколько стоит запуск двигателей, а? А кок? Сколько он берёт как за свою стряпню и толкотню на камбузе? (На Северном флоте шутили, спрашивая салаг: «Маманя, где у вас тут камбуз? – И, выходя из камбуза, у того же молодого матросика: А галюн?»). Се наше государство. Метафора такая, да? Без взятки не поплывёшь, не выстрелишь, не поешь, не подлечишься, не отдохнёшь. Предлагаю внести в Конституцию РФ статью о необходимости коррупции, о пользе её, о жизненной важности её. Борьба с ней бесполезна: коррупционерам не победить коррупцию. Но! – Борьба борьбы с борьбой – обозначена. Даже антикоррупционные органы придуманы. Недавно президент в ежегодном официальном послании Федеральному собранию, чиновникам (2013) предложил длинный список реформ, новаций, методик, рекомендаций, инструкций и пожеланий. Все вставали (чиновники) и хлопали. Громко. И улыбались. И кивали. И радовались. И опять хлопали. Хорошо-то как, Господи! Ох, хорошо... Корабль-то *не плывёт*. Вот и хорошо. Застрял он в архипелаге чиновничьих интересов. Личных, конечно, и корпоративных.

Катастрофизм культурного сознания – это константа. Это – постоянное предощущение и знание Конца эпохи одной культуры и Начала другой. Культура – сердце цивилизации. Сосудисто-сердечная организация и система цивилизации. Словесноцентричная культура определяет лингвоцентрический характер цивилизации. И пока цивилизация здорова – она не думает о культуре, как здоровый человек не чувствует здорового сердца. Здоровье цивилизации – явление неоднородное: благополучие, комфорт её элитной среды всегда предполагает крайнее нездоровье и нищету её нонэлитарных сфер. С другой стороны, душевный комфорт, обеспечиваемый леностью ума, души, сытостью и роскошью, есть особое заболевание: полусон, полуглухота, полуслепота, полуэмотивность, полуразумность, полудушевность. Мы знаем, чем кончили Древние Египет, Греция, Рим и прочие...

Цивилизация и культура сегодня – разнонаправленные процессы. Сразу замечу: язык, словесность, поэзия, наука, культура в целом – сущности божественные, чудесные, вечные (в рамках планетарной вечности, как минимум). Визуализм культуры – явление объективное. «Субкультуры» – к культуре никакого отношения не имеют. Поэтому: пока культура существует – будет существовать и цивилизация. Очнувшаяся. Опомнившаяся. Голодная и холодная, больная и пыльная, но чистая душевно и душевно страдающая и страждущая красоты. Мысли о гибели нашей цивилизации (а все признаки и факторы такого конца – очевидны), мысли о Конце Света, мысли об Апокалипсисе – это мысли о культуре, о её, так сказать, «здоровье». А культура – здорова. Нездорово – общество. Общества. Государство. Государства. Т. н. архипелаги и корабли. Метафорические и вполне мифические.

Внутрикультурный катастрофизм – это аккумулятор этико-эстетической воли, замысла и божественно-художественного Промысла. С. С. Аверинцев заметил, что И. В. Гете не имел последователей, что гений – это всегда «мгновенная уникальность». О. А. Седакова почти то же самое говорит о Пушкине, отмечая наличие поэтологического сопротивления ему тех,

кто «шёл» за Александром Сергеевичем. Также в одной из своих поэтологических работ О. А. Седакова говорит, что если Данте «шёл» от Вергилия (вообще от романской поэтики), то Рильке отталкивается от Орфея. (Замечу, сама О. А. Седакова как поэт [и как переводчик стихов] работает на самой верхней / высокой и одновременно на самой глубокой границе русского языка – в тех точках, где русский язык «переходит» грамматически, этимологически, стилистически, просодически и семантически – в другие языки; если В. Хлебников восстанавливал праславянский / общеславянский вариант языка, то О. Седакова создаёт некий будущий всеобщий язык). Думаю поэзия (и поэт) движется по такому пути, который является одновременно и горизонтальным, и вертикальным, многонаправленным, всенаправленным, т. е. шаровым. И генезис поэтики основывается на её шаровой генетике. Внутрикультурный катастрофизм выражается прежде всего в хронологической подвижности памяти. Памяти поэзии и памяти словесности вообще. Т. е. – памяти культуры. Когда поэтическое завтра, оказывается, было уже вчера. А поэтическое прошлое ещё не наступило – оно грядёт. Поэтому поэтическое сегодня / настоящее растворено в том, что проще назвать: Нечто. Хронотопическое и антрополингвистическое Нечто. Или – дар Божий. Талант. Словесный, поэтический талант.

Катастрофа чревата одновременно двумя исходами: Конец и Начало, когда и то, и другое бывает явлено нам в трагической оболочке. Не обязательно ждать после Конца – Новое: часто наступает старое или обновлённое старое. Катастрофа обновляет вещество сущего, содержательного, функционального. Катастрофа обнажает и освежает нравственное.

ИЗ «НОВОЙ ЖИЗНИ»

Глава 41

Над широчайшей сферою творенья,
выйдя из сердца, вздох проходит мой:
это любовь, рыдая, разум иной
в него вложила в новом устремленье.

Воздух-паломник! Вот где тяготенье
разрешено: и перед Госпожой
в славе стяжанной, в милости живой,
в свете безмерном он теряет зренье.

И возвратившись, речью покровенной
слабо и смутно ведет повествованье,
скорбной душой неволимый моей.

Но по тому, как часто о блаженной
он поминал, я разгадал посланье:
донны мои! Так я узнал о ней.

(перевод О. Седаковой)

Внутрикультурный катастрофизм затевается гением: новое устремление вкладывается сердцем и душой в разум, изменяя гравитацию взгляда, взора, слуха, слова – вообще способа этико-эстетического познания.

Пушкин оставил после себя пустыню. Но любой (и Лермонтов, и Тютчев, и Ахматова, и Мандельштам, и Бродский, и Седакова, и Сергей Шестаков и др.) находит в ней свой оазис;

или – создаёт его. Прекрасные, безмерные, сверкающие кристаллами минералов и льда, испещрённые морщинами песчаных дюн и родинками родников, оазисов, голубыми и оранжевыми лентами рек и синими линзами озёр и окаймлённые океаном и морями – пустыни, – пустыни животворные и вселенские, – о, какие пустыни оставили нам фольклор, Гомер, римские лирики, Аристотель, Платон, арабские словесники, христианские гимнографы, Леонардо да Винчи, Данте, Шекспир, Гете, Толстой, Пушкин, Элиот, Рильке, Клодель, Мандельштам, Целан!..

Трудно, чудовищно трудно выйти к этим великим пустыням и – хотя бы пересечь их. Еще труднее рассмотреть и ощутить сердцем, разумом и душой вещество Новой жизни, Нового времени, Нового человека, продираясь сквозь оглушающий и ослепляющий гул, свerk, дразг и дрожь государственного островитянства, национального атомизма и симфонизма и корпоративной коррупции.

Стареющее вещество цивилизации, жизни, культуры – результат исключения одного из компонентов триединого познавательного механизма-системы: сердца, разума или души. Новое вещество жизни творится только совместной работой этих трёх взаимоопределяющих субстанций. Союз разума и сердца, а чаще только разум, оголённый позитивизмом, прагматикой и аксиологией, – убивает онтологию и духовность и порождает социальные трагедии (что и происходит с Россией вот уже 100 лет!). Разум – насильник, без духовного наполнения он начинает фашиствовать.

Андрей Бауман

ЗЕМЛЯ РОССИИ

Под русским солнцем, полная зерна,
одна на всех – колымскою зимой ли,
поволжским летом, впалым дочерна, —
земля живых пойдёт на мукомолье,

и с каждой жизнью отнятой старей
и горше будет делаться, из недр
ладонями своих монастырей
незрячее ощупывая небо,

глотющее лагерную пыль,
на огненных настоянную травах:
одна на всех – сестра и поводырь,
покоящая правых и неправых.

10–11 апреля 2011

И небо слепнет от ужаса. Новое вещество жизни порождается ужасом и болью, сочащейся из разрыва, из отрыва разума от сердца и души.

Тяготение старого и младогравитация нового – вот разрыв, вот сдавливание, – вот что мы испытываем сегодня. Сегодня и всегда.

Недавно смотрел по ТВ летний чемпионат мира, происходивший в Москве. Красиво! Сильно! И – смешно. Смешно, неловко и стыдновато было слышать гимны некоторых стран, которые исполнялись в честь победителей. Подавляющая часть государственных гимнов (восприятие мое – вне политики! – чисто этико-эстетическое) – это музыкальные маршево-одические произведения интертекстуального (т. е. заимствованного) и постмодернистского (т. е. новое – на основе известного, старого) характера. Гимн Уганды – почти «Интернационал», гимн Кении (самый красивый!) – это увертюра то ли к опере, то ли к симфоническому грандиозному сочинению, гимн США – палимпсест гимна Великобритании (Англии) «God Save The Queen». Гимн моей страны, России – это... это сталинский марш с застрявшей в мозгу (и в сердце) строкой «Союз нерушимых республик голодных...». Господибожетымой! Ну неужели нельзя создать что-то музыкальное, адекватное двуглавному орлу и флагу-триколору! Можно и старое сделать новым: «Боже, Народ Храни...» и т. д. Царские, имперские символы никак не синтезируются в систему с коммунистическим (по сути – диктаторским, сталинским) гимном. Ох-х-х...

Вот два стихотворения Сергея Шестакова, уходящие в онтологическое новое, одновременно вращаясь в родное, кривно необходимое прежнее, прошлое.

твоего не избежать прихода,
хохлома ты моя, кострома,
открывающая без пин-кода
ледяной пустоты закрома,
и, печалью пронзён твоекратной,
всех земель и небес отставник
бредит музыкой синей и красной,
закипающей в венах твоих...

Здесь всё – объятие, покружное и крест-на-крест, старого и нового, т. е. недоизведенного, недопознанного, а может быть, и непознаваемого – с неведомым, неизвестным.

левая половинка лица от матери, правая от отца,
по линии, где они сходятся, разламываются сердца,
стою, держу своего осколки над головой
и думаю: ну и влип, японский городской,
а ты берёшь их, склеиваешь, склоняешься надо мной
и шепчешь: вернётся светом, что было тьмой,
и вновь загремят на стыках скорые поезда,
и правая половинка станет твоей тогда...

Поэт сказал всё – бесстрашно, мощно, прекрасно (от «Прекрасное») и мужественно. Поэтическая стереосемантика порождает стереофабульность стихотворения. И здесь характер интерпретативности, точнее – полиинтерпретативности – параметрируется не хаосом («понимай, как хочешь»), а космосом («понимай ВСЁ»).

Человек нетерпелив. Он готов шагнуть от старого к новому – сейчас же и безоглядно. Мы плачем по старому и боимся конца. Конца всего на свете. Но мы и ждём этого конца. Жаждем его – эмоционально, эсхатологически, онтологически. И восклицаем: В КОНЦЕ-ТО КОНЦОВ, ИЗ КОНЦА В КОНЕЦ, – БУДЕТ ЛИ КОНЕЦ ЭТИМ КОНЦАМ!.. – Так шутливо покрикивал, видя непорядок где-либо и в чём-либо, Винни-Пух. Нет, не тот сказочный медвежонок, а мой товарищ с таким шутливым прозвищем, морпех по имени Пётр, погибший в Юго-Восточной Азии в 1975 году.

Когда вода напьётся

Просыпаешься. Примеряешь на себя время и место. Всё как обычно. А душа не на месте. Не помещается в нише, оставленной телом, – в нише – твоей – в пространстве и во времени. Думаешь: время и место сии – пусты. Или – почти пусты. Тебя вроде как бы и нет. И ты – есть. Вот тело, руки, ноги, туловище, голова. И всё это явно наличествует и существует. Однако место твоё – сдвинулось. Место твоё не на месте. И время ускользает не от тебя – оно движется, но не в тебе и с тобой, а как-то рядом. Ты даже чувствуешь дуновение его. Ветерок. И – шорох места, обдуваемого временем... Заболел? Да нет, вроде всё в порядке. Что-то вчера натворил или недотворил? Да нет опять же – всё нормально... Может, умер? – живёшь в деревне один, в снегах, в морозах. Неделями никого не видишь, кроме птиц (синицы, сойки, снегири), редких котиков, пересекающих заснеженный двор и оставляющих в сугробе глубокие следы, цепочки следов, ровные – как по струнке, по линейке, – да собаку, забегающую к тебе раз в день перекусить чем-нибудь, что холодильник послал. Если всё это Тот Свет, значит – ничё, жить Там (Здесь, уже Здесь) – можно.

Закуриваешь и думаешь: так что же нынче не на месте? Ты и душа твоя? Или – место и время твои? Уже – не твои... Глубокое беспокойство вдруг потесняется ощущением счастья, удачи, – предчувствием чего-то важного, что маячит где-то уже недалеко... Раздражаешься. Неожиданно для себя. Застрял между сном и явью. Душа твоя примеряет своё будущее состояние свободы от тебя. Посмертное состояние. Растираешь в пепельнице сигарету и вжимаешься лицом в подушку. Но проход в сон уже сузился – только ребёнок пролезет. Открываешь глаза – а время и место всё ещё в стороне, не с тобой, не в тебе. И ты – не в них...

Встаёшь. Кофе. Сигарета. Сигарета. Сигарета. Одеваешься – и в снег, в минус сорок, в голубоватую, сиреневатую стужу.

Солнце. И луна. Светло. Даже слишком. Между солнцем и луной натянута струнка, а вокруг неё – паутинки, с которых осыпается хрустальная перхоть пороши, посверкивающей в лучах солнца и луны. Мерцающей. Валенки поют – снег крепкий, как древесина, как итальянские пинии, из которых делают скрипки. Валенки поют. Звук важный, стройный, внушительный. Звук явно значительный и значимый: два света сошлись в один – Тот и Этот, солнца и луны, снега и слезы, набегающей на мороз. Ох, тяжело! Ох, хорошо! Ох, что-то будет. Что-то случится... Вроде всё на месте. Дом, сад, лес, деревня, две реки и пруд. Планета на месте. А ты всё ещё где-то не здесь, в стороне. Сам по себе. Как обособленный член предложения. Как Узбекистан какой-нибудь после распада СССР.

А в голове ходит по кругу фраза. Нет, даже не фраза – а пара-тройка слов: «когда вода напьётся»... Тело и душа, пронизанные пением валенок и снега, томятся – не верят словам. – Когда вода напьётся?.. – они ждут чего-то другого, более важного, огромного, небывалого. Визуальное – зима, стужа, свет, кристаллические потоки воздуха и облака дыхания – оживает: оживает синицей, которая узнаёт тебя и радостно пищит, знает, что сейчас ты пополнишь птичью столовку салом, семечками, колбасой на верёвочках (сойки – две огромные – уже сидят на черёмухе, одна из них крутит своей мохнатой башкой, – жар-птицы!). Ты кормишь птиц и берёшь деревянную лопату – поправить дорожки к дровам, к бане, к сортиру, к воротам, к задней калитке, вообще к жизни, к простору заборному. Ты машешь лопатой – и появляется ритм. Сложный, тахикардический, спазматический и одновременно свободный, вольный, с долготами, отмашками и спорадическим учащением. Ты – сердце. Сердце этой промороженной пустыни в снегу. Сердце зимы.

И ты начинаешь обживать новое своё место, притягивая к нему своё – не своё время. Ощущение (предощущение) того, что что-то должно произойти, сменяется узнаванием (дежавю) этого чувства: ЧТО-ТО УЖЕ ПРОИСХОДИТ! – КОГДА ВОДА НАПЬЁТСЯ!.. Всё

– ты уже в этом новом-старом-знакомом состоянии. Звук-звучание, слова и ритм уже есть. Теперь нужно ждать следующего, более глубокого ощущения / предощущения / переживания – иного, воспоминаемого, но незнаемого, узнаваемого, но абсолютно другого, нежели бывшее, пережитое... И ты живёшь в этом состоянии определённой неопределённости, мучительного счастья, которого всё ещё нет (и будет ли?), – в состоянии эвристической асфиксии, когда задыхание твоё – чудесно и страшно. Ведь ты – сердце. Сердце уже не зимы, а чего-то большего. Ты живёшь (на автопилоте), занимаешься бытом, но сердце и разум твой уже в бытии, а душа – ещё дальше, выше и глубже: она пытается добыть иного вещества, или – вещества Иного, существование которого подтверждается наплывами озноба плечевого, морозцем нервным по спине, холодом под ложечкой и валидовым сквозняком в гортани. Так и живёшь на три пространства (на три фронта): быт – бытие – Иное.

Состояние мучительной неопределённости может продолжаться (и развиваться) долго: день, неделю, месяц, год... всю жизнь. Ты ждёшь ЭТО. Не потому, что оно тебе нужно, а потому, что оно неизбежно. Потому что так происходит с тобой и с НИМ (с ЭТИМ самым) всегда, всю жизнь, лет с трёх, с первых букв твоих, строчек, страниц и книг. Твоя растерянность есть рассеивание тебя по иным местам и временам – вот ты и выходишь из своего места и времени. Ты теперь всюду. Идёшь везде, как снег, как дождь, как свет, сумрак и не свет. До тех пор, пока ОНО не явится. ОНО – стихотворение. Рассказ. Статья. Книга. И когда ОНО начнёт появляться (проявляться, материализоваться) – твоё рассеивание соберётся в пучок, в щепоть. Ты – весь – будешь сам по себе в своей щепоти. Как карандаш, как ручка. Вот и пишешь собой.

Нет, не только собой. Пишешь ещё и чем-то ИНЫМ. Чем?.. И – что? Наштупываешь пустоты в том, что уже сказано, подумано, пропето, проплакано. Трепетная пустота неназванного (и – неназываемого) ждёт имени, чтобы наполниться смыслом, – и не только языковым, мыслительным, но и метасмысловым, метаэмоциональным, метамузыкальным и метачеловеческим. Всем тем, что приближает работу текстотворца к призрачному образцу, к метатексту, а от него – к архетексту.

«Когда вода напьётся», эта фраза по беззаконным законам метаассоциативности пробирается в язык, в языковую картину мира. Почему? Потому, что архетекст подавливает. Гравитация Главного Текста чудовищно велика, мощна, если не всеильна.

И твой текст, которого ещё нет (его, может быть, и не будет), начинает вибрировать в уме, в сердце, в душе, в плоти. Эта Вибрация организует воздух, дыхание, задыхание – в мелодию, в шёпот, в бормотание, в напевание того, чего ещё нет. Да и будет ли ОН – текст?..

Если цивилизация анализирует, расщепляет, разламывает, отрезает мир от мира, то искусство – синтезирует мир в мире. Создает подлинное в реальном, чистое в грязном, прекрасное в безобразном, радужное в чёрно-белом (и – наоборот), живое в полуживом, бессмертное в вечном.

Текст, ненаписанный и ожидаемый, слетается к тебе – шелестеньем, шорохом, звуком вообще, первыми искрами и мерцанием смыслов, которых еще нет, обрывками грамматики / синтаксиса, налипающими на первые ростки интонации, тональностью, сгустками и пустотами языка – призраком ещё – языка, непреодолимым желанием – записать всё это, – и могучим сдерживанием себя – не сесть за стол! – неопределенностью и одновременно предчувствием результата и наслаждения записью и правкой текста, который уже есть... Однажды ты, работая грузчиком в студенчестве, нёс к подъезду дома от машины с перевезёнными вещами зеркало, 1 м×2 м, и ветер нашёл твой зеркальный парус – и потащил тебя с ним, понёс прочь от дверей. Кто-то увидел это и крикнул: – Падай на спину! – Но ты упал вперёд лицом на зеркало, и оно разбилось – всё сразу, разлетелось, и всё, что было в нём отражено, рассеклось и рассыпалось. Так же и с текстом: сила, стихия поэзии несёт тебя с зеркалом 1 м×2 м, в котором отразилось всё, что должно быть в тексте, – и ты должен или устоять, или упасть на спину, сохранив зеркало. Чаще падают животом на зеркало, а потом собирают осколки, как пазл – что получится?

Но – текст уже в тебе.

Райнер Мария Рильке

(Перевод К. А. Свасьяна)

Там дерево росло. О нарастанье!
Орфей поет! О дерево в ушах!
Всё замерло. Но даже в том молчанье
внимала шагу нового душа...

Сонет свой Рильке заканчивает строкой «в дремучем слухе храм ты им воздвиг»: так и есть – текст строится слухом. Комплексным и тотальным слухом – слухом слуха, зрения, разума, памяти, души, сердца, интуиции и гармонии. Орфей как материализованный (интерфизический) миф – есть СЛУХ. Слух – феномен поливалентный, субъектно-объектная широта его необозрима: слух Творца, слух Природы, слух Космоса, слух текстотворца, слух миропонимания, слух мироздания, слух культуры, слух памяти, слух словесности, слух языка, слух Архетекста / Текста, слух Духа, слух души, слух плоти, слух Музыки и слух исполнителя музыки, слух читателя, слух общества, слух литературы, слух звериный, животный, плотский, биологический, слух всех стихий (воды, огня, земли и воздуха), слух пятой стихии – Красоты / Поэзии и т. д.; и, наконец, – СЛУХ СЛУХА.

Слух гортани возрастает и крепнет. А текста ещё нет. Но! – в тебе появляются его очертания (параметры / формы) звуковые, графические, дискурсные и дискурсивные, фонетические и фоно-семантические (смыслы звуков), грамматические-словообразовательные, словесные, грамматические-синтаксические, фразовые, строфические и, наконец и слава Богу, – текстовые.

Когда читаешь, точнее – видишь, современный текст, стихотворение, – то замечаешь прежде всего отсутствие знаков препинания. И это не приём. Если стихотворение есть выдох или поток мысли, или поток речи, или ПОТОП языка – отсутствие знаков препинания оправданно. Но в 90 % всех современных текстов это пунктуационное зияние обусловлено просто свободой и крепостью новой графической традиции и моды. Словно вот уже 150 лет стихотворцы / крепостные приходят к крыльцу царя-батюшки за тем, чтобы услышать: – Крепостное право отменено! Можно знаков запинания не ставить! И так каждое утро, скажем, в 9:00 стоят понурые невольники точек и запятых и слышат: Свобода! – и ликуют, сердешные – и не ставят знаков этих проклятых. И вливаются в общую мировую традицию нон-пунктуации, забывая о том, что вольный русский синтаксис без знаков препинания безумеет, – и авторы освобождают себя от ответственности словоговорителя и смыслопорождателя: понимай как хочешь, и у меня не будет горя от ума. Перечитайте «Горе от ума».

Слух гармонии. Чувство гармонии. Мука гармонии. Гармония как некая сущность – явление (именно так: от глагола «являться / явиться») неопишное, загадочное: мы видим только результат её появления и работу такого результата. Совокупность связей бытового, бытийного, инобытийного, биопсихологического, духовного, рационального и иррационального, эмоционального и метаэмоционального, смыслового и метасмыслового, голосового и эхологического, визуального и звукового, музыкального и цезурического (пауза), интонационного и тонального, качественного и количественного (язык, дискурс, текст), человеческого и социального, человеческого и культурного, человеческого и божественного, материального и чудесного – вот аспектуальная радуга гармонии. (Смотрю в окно и вижу на черёмухе сойку – нахох-

ленную и распушившуюся (–43 °С): рай-птица превратилась в серо-голубой пушистый шар – радуга, сжатая в пуховый кулак.) Гармония надвигается вся сразу и отовсюду. И текст в тебе вот-вот произойдёт. – Когда вода воды напьётся.

Человек живёт в четверть силы. Когда имеешь дело с гармонией – живёшь четырежды и враз.

Надеждой сладостной младенчески дыша,
Когда бы верил я, что некогда душа,
От тленья убежав, уносит мысли вечны,
И память, и любовь в пучины бесконечны, —
Клянусь! давно бы я оставил этот мир:
Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир,
И улетел в страну свободы, наслаждений,
В страну, где смерти нет, где нет предрассуждений,
Где мысль одна плывет в небесной чистоте...
Но тщетно предаюсь обманчивой мечте;
Мой ум упорствует, надежду презирает...
Ничтожество меня за гробом ожидает...
Как, ничего! Ни мысль, ни первая любовь!
Мне страшно... И на жизнь гляжу печален вновь,
И долго жить хочу, чтоб долго образ милый
Таился и пылал в душе моей унылой.

1823

А. С. Пушкин

Вот – гармония. Гармония текста, мира и целостного, но сложного, слоистого, многосферического бытия. Поэт простирает гармонию (и свою, и божественную) «В страну, где смерти нет, где нет предрассуждений, // Где мысль одна плывёт в небесной чистоте...». И – пугается этой абсолютной чистоты. И – удерживает зеркало текста, поймавшего и отразившего ветер ИНОГО.

И текст диктуется тебе – гармонией. Он вот-вот появится. Явится, когда вода напьётся и потемнеет тьма.

Господи, сфотографируй нас...

Третий день стоит в моей голове и не доходит до рта фраза «И хлынет смерть»... И хлынет смерть. И хлынет смерть. Смерть – это такая вода, в которую, точно, не войдёшь дважды... Но так ли это? Человек – не кошка, обладающая девятью жизнями и девятью смертями. Человек умирает не единожды: от обморока до клинической смерти, от непомерной тоски до отчаяния, от звериного – из живота самого – крика до немоты. Он живёт множественно. И множественная жизнь принимает множественную смерть.

Воздух уплотнился. Войной. Последние два-три года дышать становится всё труднее: весь Ближний Восток, Сирия, Корея, Украина и ещё десятка два мест, откуда исходит боль. Тоже множественная. Потому что, зная войну не понаслышке, понимаешь и представляешь, и видишь во сне, как много людей сегодня впустили в себя зверя, чтобы убивать и быть убитыми.

Множественная жизнь, однако, пока неуязвима. Нет, уязвима, конечно, но не тотально, хотя смерть оглаживает её со всех сторон. Со всех, да не со всех: есть ещё, слава Богу, светлая печаль и печальная красота, есть стихи и тёмное счастье переживания и познания нового – нового в музыке, в слове, в человеке. Чёрная эвристичность бытия сменяется светлой, лучезарной. Так и живёшь, уже не вздрагивая и не закрывая ладонями лицо, не мигая в чередовании вспышек темноты и света... И думаешь иногда: какая вспышка будет последней – чёрная или золотая?

Лучше бы – золотая... Я читаю стихи – себе – каждый день: утром (обязательно!) – чтобы очнуться, осмотреть себя изнутри, почувствовать присутствие души в себе, ощутить сердце (в его эмоциональном воплощении), ум (его горе и горе от него), – одним словом, чтобы вернуть себя; вечером – чтобы не сойти окончательно с ума, с души и с сердца от пошлости – социальной, персональной, толпяной и своей, – чтобы очиститься от пошлости, чтобы снять её налёт со всего в себе, что дышит и болит, говорит и радуется. Постоянное чтение стихов приводит, с одной стороны, к проявлению постоянной любви к Боратынскому, Тютчеву, Пушкину, Анненскому, Мандельштаму, Седаковой, Шестакову, Гандлевскому, Дозморову и др., с другой стороны, такое чтение вырабатывает новую любовь к новым стихам и возвращает забытые старые любви к Заболоцкому, Жуковскому, Баркову, Ломоносову, Кушнеру, Тарковскому и др. Новая поэтическая любовь – событие странное, происходящее – для меня – незаметно. Я долго влюбляюсь, медленно (так было со стихами Перченковой, Симоновой, Порвина, Дьячкова (Алексея), Баумана, Могутина, Шварц, Чейгина, Месяца, Чигрина, Каневского и др.). Одним словом, читатель я полигамный: к книгам Целана, Рильке, Фроста, Данте, Седаковой, Мандельштама, Новикова (Дениса) и Пушкина, которые составляют ядро моей поэтической полигамии, прибавляются, притягиваются (вот – поэтическая гравитация) десятки книг новых стихотворцев и поэтов. Самое свежее вторжение в книго-планетарную систему моего постоянного чтения – сборник стихов Анастасии Зеленовой «Тетрадь стихов жительницы». Поначалу я её полистал, выхватил глазами кое-что, подумал: «Интересно», – и отложил. Затем, однажды, в период очередной вспышки тьмы, – взял её с полки и – прочитал всю, проглотил, как в детстве-отрочестве-юности. А потом... А потом и сейчас читаю её постоянно вот уже месяца два – по одному-два стихотворения, загибаю страницы, отмечаю кое-что шариковой ручкой, – и так несколько раз в день.

солнышко – подзатыльник,
солнышко – кровь – из – носа,
Солнышко...

Что это? Откуда? Как? Почему? – вот вопросы, прорастающие в бессонницу, когда не совсем понимаешь происхождение и качество таланта, который в трёх словах (двух сложных и простом) назвал нечто выразимое в трёх томах и нечто невыразимое вовсе: от солнечного удара – до Солнечного Удара (Бунин), до солнечных протуберанцев, до взрыва Солнца, до Большого Взрыва – сквозь тепло и жизнь, сквозь сладкую соль Бытия и Природы etc.

Ты читаешь стихи Насти (именно так хочется называть поэта, обладающего детско-божественным зрением, слухом, осязанием, обонянием, вкусом – и говорением), перечитываешь их, переповторяешь:

Иногда,
когда мы вдвоём,
так хорошо,
что хочется попросить:
– Господи,
сфотографируй нас, пожалуйста,
на память. —

возвращаешься к ним, испытывая постоянное изумление – познанию мира, себя, Бога, времени и любви. Ты идёшь на работу, читаешь лекции, пишешь словарные статьи в очередной толково-идеографический словарь, пишешь, а затем читаешь долгую лекцию (на 8–10 часов) студентам и слушателям, посетителям литературного клуба о верлибре и не-верлибре, уже любя (полюбив) верлибр и узнав, что он есть способ, не менее эффективный, нежели тоника, тонические стихи, – способ уловления абсолютной поэзии, чистой поэзии и красоты (просто тип гармонии в верлибре иной: как-нибудь в одном из следующих очерков попытаюсь кратко пересказать эту лекцию, где разбираю два стихотворения (по одному – А. Кушнера и А. Алёхина) и два десятка дифференциальных признаков верлибрического и тонического поэтического текста), ты споришь со слушателями и помнишь (помнишь так, что болит под ложечкой), что сейчас на Майдане в Киеве – бойня. Государственный переворот, подготовленный западными спецслужбами и осуществлённый силами неонацистов и наёмников (США, Польша, Прибалтика и др.). Запад (Европа и США) уверен в том, что русские хотят захватить Украину. Итальянский журналист и писатель Джульетто Пьеза (прекрасно знающий историю России, русскую культуру и русский язык) говорит о том, что западное мышление – обывательское. 90 % жителей Европы и США гневно вопрошают: а откуда, мол, вообще взялись эти чёртовы русские в Украине и в Крыму?! И почему это Крым уже захвачен русскими, которые ввели в Севастопольский порт свой Черноморский флот?! Я бывал за границей и жил там подолгу – и знаю, что средний тамошний обыватель обеспокоен – всегда – тремя вопросами: личный достаток, личная безопасность и, наконец, главное – откуда нагрянут пришельцы: из-под земли или из космоса...

Позитивизм победил. Победа – тотальная. Позитивистское мышление и поведение (мир и всё в нём – познаваемы!) доминирует ныне в политике (перестроим любой строй!), в экономике (обманем кого угодно!), в культуре (сымитируем всё, что хочешь!). Недавно таксист-узбек, провозя меня мимо синагоги, воскликнул: – О! Еврейская мечеть! – Оговорка по Абае, Ярошу и Сашке Билому (Музычка). Правда, узбек засмутился, когда я его поправил, а вот названные господа, исторически невежественные, алчные, амбициозные и преступно меркантильные – устроили бы мне Майдан.

Поздно вечером – ночью, после телевизионных новостей с кровью и снайперами (утверждаю: чуваки с СВД и прочими волынами, ружбайками и АКМ – не снайперы, потому что снайпера не сфотографируешь, не снимешь на видеокамеру: они – как погода и пейзаж – всюду

и нигде. Профессионалы), после комментариев и заявлений, чаще всего безответственных и безосновательных, – беру книжку Нasti Зеленовой – и...

Хармс
В колпаке
налегке
на войну не пойду
вот – дую – ду
ай – дую – ду
хлеб
принесёшь
меня
не найдёшь

Да. Такие дела. Частная смерть Даниила Хармса (по одной из версий его гибели – он умер от голода в тюремной камере в самом начале войны, в 1941 году), смерть одного поэта, смерть поэзии позволит этому безумному миру познать вселенскую, неуправляемую, глобальную смерть войны. Потому что любая война – смерть. И – ХЛЫНЕТ СМЕРТЬ.

И незаметно зеркало во мне запотеваает:
Он дышит...
И пишет, и рисует, и – стирает.
И снова дышит...

Стихи Анастасии Зеленовой коротки. Но – не короче человеческой жизни. Как всякий подлинный поэт, А. Зеленова говорит прежде всего о времени. О времени разном – и о Божественном в том числе. Поэт говорит о времени любом, и – о времени, когда времени ещё не было, и – о времени, которое есть и будет, но его уже как бы и нет: нет времени, чтобы замечать время и думать о нём. Мы слишком заняты не землёй, небом, водой и пламенем, а – войной. Гламурные и прагматичные позитивисты без войны не проживут – экономика загнётся, финансы гикнутся, частная собственность обобществится; а ведь сегодня вся планета Земля есть частная собственность политики, политиков и политиканов. Всё прибрали к рукам своим, а что не смогли – испоганили, изуродовали, измордовали.

Ювенильно-божественное мышление Анастасии Зеленовой изумляет.

у детства две доски через болота
я маленький мне страшно стой на месте
мне страшно, страшно, побежим скорее
у детства нет нестрашной ни дощечки

Ювенильное, детское, младенческое ощущение страшного и прекрасного (ужас усиливает красоту) в современной литературе и стихотворчестве почти не встречается. А. Зеленова пробует такое – детское – говорение. Мой стишок «Попробуй птичье говорение» – это от отчаяния, от невозможности воспринимать говорение взрослое, нет – сверхвзрослое (как у Бродского, который пугает, а самому ведь не страшно; страшно – в социальном отношении – видеть, как демократия пожирает себя саму). Поэзия – это доречевое, то бишь детское лингвистическое явление. Поэзия требует от поэта и языка восстановления праязыковых номинаций, из которых сохранились лишь названия стихий, души, Бога, красоты. Пусть ужасной, но – настоящей.

В книге Анастасии Зеленовой проявился, приживается и уже – точно – обитает необычный хронотоп, синтезирующий категории жизни, смерти и любви, если говорить о сфере реальности, – во вневременном пространстве и в беспространственном времени, которые, сходясь своими хронологическими пустотами, выжимают из языка прежде всего свет. Свет, не заливаемый хлынувшей смертью. Свет повсеместный и всевременной. Свет. Просто свет.

это не я грущу
это снег хрустит.
я у тебя гошу,
как сердце во мне гостит.
и можно сыграть вничью,
да знаю, кто победит.
а я не шучу.
не шучу, и даже вот тут – болит

Поэзия – часть времени. Времени как такового. И поэту бывает трудно, мучительно больно возвращаться из времени абсолютного, из времени истины и любви – в иное время. Во времена, когда смерть, нахлынув и перелившись через себя, может существовать и перемещаться сама собой, автономно, отдельно от жизни и любви.

Время вязкое, пачкает пальцы.
ничего не слеплю, ослепла.
перевести бы себя с языка на берег.
глина не знает холода

Культура поэзии: новая просодия

В Каменке случилась оттепель. Ночью. Не спалось. Слышу – дом зашевелился. И снаружи, и внутри: расправляет свои деревянные косточки. Мыши? Да нет их здесь: утеплитель на стекловате. Душа болит и содрогается? Так она всегда болит. Даже когда весело и легко... И вдруг – поехало: с крыши срывается поезд, за ним другой, третий – с шумом и гулом. Это метровые пласты спрессованного, плиточного снега рванули от конька – к земле, к наземному сугробу. Утром обнаруживаются горы снега, почти закрывшие окна, что выходят на юг. Северный скат крыши ещё под снегом. Сад тоже зашевелился, и заборы показали сквозь свои заново проступившие щели соседский, какой-то особенно белый сугроб – с веток и с изгородей обрушился снег. Разом. И снег стал крупитчатым, как лёгкий сероватый жемчуг, и сугробы вдруг осели, пустотелые и почти неживые. Ночью вышел в поле – видно, как снег сходит – медленно и слегка по-шумливая; шепча, что ли? Уже и гряды вспаханной земли показались. Снег уходит почти незаметно, как память по покойнику: белое-чёрное-зелёное... Вдруг – вздрагиваю. Ко мне подходят глаза. Идут невысоко от земли, шумя снегом и чьим-то дыханием. Стою – смотрю. Ничего не вижу – темно. Потом тьма выдавливает из себя нехотя и осторожно большую башку. Уши топориком. Собака. В ошейнике. Поводок натянут, длинный, куда-то в сторону, во тьму, хозяина не видно. Кто с ней гуляет? Так поздно? За деревней? Бог?..

В Киеве случился Майдан. Красные, белые, зелёные, синие, чёрные, жовто-блакитные, оранжевые и ещё чёрт знает какие раскачали мать русских городов и страну, вновь оказавшуюся двойной окраиной – Европы и России. Несчастливая Украина... Февраль. Холод собачий: в Екатеринбурге тридцатиградусные морозы. В Каменке, где я живу постоянно, однажды утром одного из тех дней термометр показал —50 °С. Дрова уходили стремительно: поленница обеззубела – топлю дважды в день, закладываю в печь по две охапки, – ничего – живу. Топлю Урал, как говаривал мой товарищ-горожанин, живший рядом, но так и не понявший и не принявший деревенской жизни, основы её (особенно зимой) – ДВП: дрова, вода, помои... Именно в эти дни, сразу после сессии, я прочёл цикл лекций в литературном клубе «Урал» при редакции одноименного журнала – лекций / занятий / бесед – о верлибре. Традиционалисты воспринимают крепчающий верлибр как некий просодический майдан – точно так же, как сами верлибристы (и вообще современные стихотворцы) смотрят на силлаботонику как на развалины советской империи.

Просодическая сфера русского стихописания живёт, меняется, опустевает, обогащается и восполняется не по законам существования политики, экономики и общества в целом. Хотя мода и рынок, естественно, корректируют методологию сочинительства. Однако, следует заметить, что факторы социального характера влияют преимущественно на сферу литературного стихотворчества, которая имеет строгую структуру полевой природы: мейнстрим – ядро, всё остальное – периферия. И здесь, в «литературном цехе поэзии», этико-эстетическая сценарность поэтической просодии – не актуальна; здесь, как в политике, преобладает энергия денег, амбиций, власти (редакторско-издательской) и пиара (чаще – авторекламы и авторежиссуры). Подлинный поэтический текст равнодушен к своей просодической форме (и к содержанию, и к функции). Поэтический текст ориентирован на поэта, на человека, создающего текст. Поэтический текст – тотально и стереоскопично антропологичен. И – чудесен (чудо), и – божественен (архетекстовая предопределённость появления стихотворения). Всё дело здесь не в том или ином виде просодии (тоническая – верлибрическая), а – в гармонии.

Гармония – сердце словесности. Художественная словесность вырабатывает особую энергию (в отличие от инфо-текстотворчества) – энергию гармонии. Природа такой энергии загадочна, труднопознаваема, но вполне ощутима. Попытаюсь кратко пересказать то, о чём мы говорили несколько вечеров в редакции журнала «Урал». Мы – это три десятка сочинителей.

Итак, на Урале морозы, в Киеве Майдан, а у нас – беседы о верлибре, о просодии, о гармонии. О гармонии поэтической.

В России случился верлибр. Когда? Думаю, нет – уверен: около двух тысяч лет назад, когда стали появляться первые образцы коренного славянского (праславянского) фольклора. Колыбельные, погребальные и иные ритуальные речитативы, речевые жанры и тексты песен, сказов (сказок), былин, притч и побасенок. Русская былина – верлибр, ритмизованный тонически, когда роль стихотворной стопы (как это происходит в силлаботоническом тексте) играет фонетическое слово (например, «мороз + и + солнце»), фонетическое словосочетание, фонетическая синтагма. Сказ – абсолютно верлибричен. Прямо говоря, любая художественная речь до 14–15 вв. просодически являла собой верлибр, который под воздействием звуковой картины мира, звуковой картины природы, был естественен, «натурален», природен, первороден etc. Просодическая способность языковой личности активируется ещё в утробном состоянии носителя языка. Это – общеизвестно. Поэтому просодическая системность и просодическое изящество словесных художественных текстов определялись самой природой, её способностью звучать также и человеком напевающим, декламирующим. Гимнографическая поэзия, поэзия духовная только усилила и закрепила верлибрическую потенцию сказа, былины, Слова и других сказовых жанров. Думаю, что русский верлибр до 19 в. был тоническим, или синтагмо-тоническим, когда огромные звукокомплексы и звукоряды, имея одно основное ударение, поглощали и вмещали в себя лексико-фразовый материал текста.

Однако поэзия и поэтичность – разные вещи. Всё дело в качестве предмета текстотворчества. Генеральными предметными константами поэзии (поэтического текста, текстотворчества вообще, а также прозаического и драматургического текстов) являются такие метаэмоции и метасмыслы (идеи, концепты), как жизнь, смерть, любовь, но – в нерасторжимом единстве, когда в тексте, манифестирующем комплексный предмет «жизнь – смерть – любовь», возникает феномен метаобразной стереоскопии, способный порождать более крупные метаконстанты, например, Бог, Вечность, Душа, Дух, Вселенная, Бесконечность, Добро, Свет etc. Квантом гармонии, таким образом, является метаобразная, метасмысловая, метаэмотивная стереоскопия. Гармония – это феномен и родовой, и видовой, и родо-видовой, и видо-видовой, и родо-родовой по отношению к тексту, к его имманентным, перманентным, внешним и внутренним признакам. Вообще, художественный (прозаический, эссеистический, драматургический и т. д.), а особенно поэтический текст обладает такими базовыми признаками, как воспроизводимость, идиоматичность и цельнооформленность (данные признаки присущи слову как единице языка, текста и речи), – именно в них закрепляется основа поэтической гармонии.

Поэтическая гармония – как единое целое – формируется и функционирует (т. е. существует) одновременно в трёх сферах (по отношению к тексту): внешняя (древнегреческое понимание гармонии как совокупности всех частей системного целого, как сложенного и эффективного взаимодействия этих частей в процессе работы; а также гармония культурологической природы;

гармония этико-эстетического, этно-культурного, этнолингвистического, антропотекстового, и т. д. характера); внутренняя (языковая, стилистическая, просодическая, музыкальная, интенциональная, антрополингвистическая и др.); онтологическая (гармония образной, смысловой и эмотивной стереоскопичности физического, интерфизического и метафизического). И верлибр, и традиционный тонический стихотворный текст, безусловно, и существуют, и функционируют, и систематизируются – структурируются одновременно во всех сферах поэтической гармонии. Существует также гармония визуально-графического характера: строфостроение, стихотворные «столбцы», графическая изобразительность и т. п. верлибра и тонического стихотворения.

Современный русский верлибр, в отличие от стихотворения в прозе 19–20 вв., начинает обретать графические очертания тонического традиционного стихотворения (хотя сегодня силлаботонические стихи иногда «записываются» прозой или имеют прозаическую графику с абзацным членением). Вот стихотворение (превосходное) Алексея Алёхина «Принадлежность пейзажа»:

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ПЕЙЗАЖА

туркменские старики
как бы потрескавшиеся на солнцепеке
с белыми и плоскими одинаковыми бородами
будто привязанными к бритым кофейным лицам
в одинаковых курчавых шапках
и пропыленных коричневых хламидах
так похожи
что кажется: повсюду встречаешь одного и того же старика
и при встрече
он протягивает тебе все ту же
пересохшую глиняную ладонь

Графика верлибра здесь вполне соответствует традиционной графике тонического стихотворения. Текст состоит из трёх строф (без знаков препинания и прописных букв, что делает это стихотворение интонационно, образно и семантически открытым: отсутствие данных элементов графики и орфографии делает содержательную структуру текста открытой). Полный анализ этого стихотворения займёт огромное место, возможно, такой анализ реализуется в объёме книги. (Аудиторный разбор «Принадлежности пейзажа» происходил в течение 5–6 часов!). Отмечу лишь, что ритмическая организация этого текста вполне системна и реализует сверхбогатый и весьма разнообразный ритм (метрической системы верлибр не имеет). Кроме того, лексика стихотворения представляет собой цельный и семантически (денотативно, тематически) связанный идеографический класс слов (функционально-смысловой класс слов). А. Алёхин создаёт уникальный текст-пейзаж. Пейзаж антропологический. Лишь топонимически обусловленный эпитет (притяжательное прилагательное) «туркменский» может варьироваться («азиатский», «среднеазиатский», «узбекский», «таджикский» и т. п.). Остальные лексемы – все без исключения – являются ключевыми или субключевыми словами, – а это уже шаг за / через прозу: Алёхин создаёт стихотворение, в котором реализован самый сложный предмет «жизнь – смерть – любовь», который в свою очередь создаёт эффект стереоскопии метасмыслов «Вечность», «Бессмертие», «Дух», «Бог» («глиняный», «глина» – материал, из которого создан библейский человек). Пейзаж человека («старики») протягивает, как луч, как ветвь, как воздух, как сухое пламя, как взгляд, – глиняную ладонь. «Тебе» – значит – миру, Вселенной, Богу, Поэту. Стихотворение – всё, целиком – есть чистая, абсолютная поэзия.

Более того, А. Алёхин предлагает (и реализует убедительно и прекрасно) новый просодический тип стихотворения.

Стихотворения, которое наверняка будет доминировать в русском стихосложении лет через 50–70. Вот основные просодические и графические параметры такого стихотворения (которое, естественно, должно иметь все качества внешней, внутренней и онтологической гармонии поэтического текста):

1. Небольшой объём.
2. Строкоделение производится согласно объёму / длине фонетической синтагмы.

3. Строфodelение определяется содержательной композицией текста и структурами общей системы смысловых (не – фонетических!) рифм.

4. В целом графическое оформление текста должно быть абсолютно адекватно интонационно-музыкальной организации стихотворения.

5. Наличие «гармонии гармонии»: экстратекстовая, интратекстовая и онтологическая части общей гармонии должны качественно и количественно соответствовать друг другу.

6. Наличие в тексте комплексного предмета «говорения» – жизни / смерти / любви, реализующегося в стереоскопической динамике взаимодействия метаобразов, метасмыслов и мета-эмоций.

7. Орфография (оказиональная, неологическая), пунктуация – свободные.

8. Синтез речевой, прозаической и поэтической интонации, который формирует «новую музыку» стиха – стиха верлибрического.

9. Наличие и доминирование в тексте лексики с предметным значением (есть исключения).

10. Квантитативное (количественное, объёмное) равновесие синтаксических и строфических структур (синтаксис – строфа).

11. Текст стихотворения тождественен фразе (синтаксема – текст).

12. И др.

Речь идёт в данном случае о появлении просодического кентавра, когда на основе синтеза просодических вариантов тоники, силлаботоники и верлибра в процессе текстотворчества и этико-эстетического (в целом культурного) функционирования различных форм просодии – происходит рождение нового, вполне самостоятельного вида просодии верлибро-тонической природы. Стихотворение А. Алёхина есть образец такого нового стихотворения.

Верлибро-тонические стихи пишутся сегодня О. Седаковой, А. Алёхиным, А. Зеленовой, Е. Симоновой и многими другими. В Западной Европе верлибро-тоническая просодия преобладала в стихах Пауля Целана, Сильвии Плат (английский период творчества, особенно последние стихотворения), Филиппа Жакоте. Вот стихотворения Сильвии Плат (в отличном переводе Василия Бетаки), в котором ещё видны швы тоники и верлибра и в котором спорадически возникает рифма, обеспечивающая строфостроение текста.

ЗА КРАЕМ

Эта женщина достигла совершенства.
Ее мертвое
Тело несет улыбку свершения без тревоги.
Иллюзия греческого свободного выбора
Стекает по складкам твердой
Туники. А босые ноги
Твердят: мы дошли. Всё.
Мертвые младенцы, как белые змейки, —
Каждый у своего пустого
Кувшинчика – свернувшись, лежат.
Она их втянула в себя. Обратно. Снова.
Так лепестки розы смыкаются, когда сад
Застывает, и запахи кровоточат
Из глубокого сладкого горла ночного
Цветка. Луна не грустит ни о чем.
Над глазами – мраморный капюшон.

И не такое она видала!
И трещины на ней становятся все черней...

5 февраля 1963

А вот «новое стихотворение» Пауля Целана (в абсолютно адекватном, прекрасном переводе Ольги Седаковой).

Ирландка, разлукой замаранная, руку твою
читает быстрее
быстроты.
Синь взгляда ее сквозь нее прорастает,
конец и победа
в одном:
ты, пальцеокая
даль.

В стихотворении три строфы и десять строк-синтагм. Стихотворение тотально стереоскопично и метафизично (денотативно и метаэмоционально).

В стихотворении Филиппа Жакоте (блестящий перевод О. Седаковой) три строфы соответствуют трём ступеням стереоскопии божественного зрения: глаз человека → глаз Бога → глаз инобытия.

Глаз:
изобильный источник

Но откуда он бьет?
Из дали дальше всякой дали
из глуби глубже всякой глуби

Я думаю что я выпил иного мира

И, наконец, стихотворение Анастасии Зеленовой, в котором метаэмоция *жизни-смерти-любви* выражается прямо (что бывает крайне редко). Это – метасмысловое прямоговорение.

наживая врагов..
на врагов наживляя любовь..
душа коротка —
так, что тени совсем никакой

На Урале случилась весна. В Киеве разогнали Майдан. Убит Музычко. А Крым вернулся восвояси – туда, где 300 лет его защищали, отстраивали и любили. И верлибр не победил силлаботонику и тонику. Напротив, он породнился с ними, явив словесности и филологии новую просодию. Русское стихосложение стало богаче. Вот и всё. Пока всё. Такие дела.

Молния в сверчке: время и время

В конце апреля выпал серьезный снег: он валил отовсюду три дня, а потом в течение недели его носило ветром с места на место, вспучивая крыши домов, навесов, бань и беседок, наметая белухины горбы поперек дороги. Мело, вихрило так, будто сухую воду в виде снега вкручивали, как саморезы, во все щели, в землю, в сад – и выкручивали обратно, кроша предсосульное вещество и взвихривая его над всем, что не было снегом. Завируха...

Птицы уже прилетели – с дальнего и ближнего юга: хищники из Средней Азии и Казахстана, остальные из-за моря. Сквозь снежную бурю пара серых цапель пробивалась к реке Утке; пять диких уток, вибрируя от холода, летели в пойму Чусовой;

скворцы где-то попрятались – в деревне, в деревянном, – и скрипели, как шуруповерты, пугая кошек и самих себя; из леса прилетели – вернулись – снегири, синицы и свиристели; а над снежными грядками кружились стайки зябликов, первых овсянок, чечеток и полевых воробьев.

Снег повернул время вспять. Остановил его – и повернул. Пространство придушило время – любое: биологическое, ментальное, мнемоническое, календарное, психологическое, рациональное, одним словом, традиционное, привычное, – и только астрономическое время крутило планету, как этого требовали кинетика и гравитация. Я зачерпнул из мешка с поволжским подсолнечниковым семенем двухлитровую кастрюльку, вынес её в снега, пробрался через сугробы, намёты и перемёты к навесу и высыпал семечки на длинный уродливый, но крепкий стол, служивший мне верстаком, – и вернулся в дом. Через пару минут налетели зяблики, овсянки и синицы. Потом к ним присоединились снегири, чечётки и воробьи, и, наконец, под навес спланировали огромные сойки – сразу три. Трижды в день я выносил птицам семечки в кастрюлке. Синицы и сойки помнили меня как кормильца с зимы – и не улетали. Зяблики и остальные лишь сторонились, отлетали недалеко, метров на пять, чтобы через полминуты вновь наброситься на семечки. Всё это продолжалось дней пять. Семечки мои отодвинули птичью смерть. Договорились, так сказать, с вечностью. Между зимой и весной образовался зазор, пробел. Снежный. Между временем (жизнью) и вечностью (не-жизнью) образовался тамбур. Семечковый. И – наступило беспространственное время во вневременном пространстве.

Когда кто-то произносит существительное «время», он прежде всего говорит, уточняет, выясняет, идентифицирует своё местоположение относительно другого места. Куда как сложнее и страшнее определить (и – назвать) своё времяположение: оно неопределённо и неопределимо; сорокалетний Мандельштам выглядел стариком, а шестидесятилетний Пастернак – молодым человеком. Возраст пространства, плоти – это всего лишь состояние этих субстанций: юность, детство, старость, младенчество – суть состояния не времени, а вещества пространства (человеческого вещества). Люди чаще имеют дело со временем астрономическим и социальным (историческим) – первое весьма кратко (млрд лет – мгновение в световом тысячелетии), а второе иллюзорно, так как оно придумывается, планируется и осуществляется не по законам природы, а по произволу общественного и персонального договора. Однажды мне, руководителю в те поры Союза писателей, предложили взятку (\$ 150 тыс.) с тем, чтобы мы, писатели, освободили особняк в географическом центре Екатеринбурга (взяткодатель и свидетель этого события уже мертвы, так что можно об этом говорить без оглядки), – я отказался взять. Более того, в те незаконные времена послал бизнесмена Д. подальше (свидетель, мой покойный товарищ, онемел от моего «безрассудства»: он был бизнесмен и денежки любил). Но я упёрся. Мне помогли хорошие люди Ю. М. Золотов, Н. К. Ветрова и Е. В. Ройзман: они «прикрыли» от Д. Дом писателя. Всё: время Д. кончилось. И он действительно покончил жизнь самоубийством ровно через год после попытки подкупа. Бог – не фрайер, как любит говорить мой друг, известный поэт. Социальное время Д. перешло в вечность и стало ничем; моё соци-

альное время продолжилось, избежав вечности. Наличие социального, биологического и персонального времени подтверждает смерть. Смерть бывает короткой (болезнь, убийство etc.); смерть бывает долгой, длинной (биологическая жизнь), и смерть бывает вечной (поэзия, искусство, культура, память). Время – линейно, даже если оно циклично и спорадично (так мы придумали);

вечность – точечна: то есть вертикальна, и возникает она в тех самых пробелах, которые образуются между временем и пространством (первое, повторю, – эфемерно и надуманно, второе есть мы [в том числе необозримых веществ и предметов]). Ни общество, ни наука, ни технический прогресс, ни цивилизация в целом никогда не дадут определение феномена (ли?) времени. Думаю, нет – уверен: время осознается (и, может быть, осознанно выявляется из потока множественных континуумов) только искусством, поэзией, словесностью вообще и – культурой. Время способны ощущать и ощутить все, кто живет одновременно и совокупно (целокупно) разумом-сердцем-душой. Только словесность (вместе с музыкой и искусством) определяет время как СВЯЗЬ сознания с изменяющимся, мобильным, исчезающим, и появляющимся, и вновь нарождающимся пространством. Такие люди (сверхчувствительные), как правило, обладают особым типом подсознания (осознание прошлого), сознания (сознание сущего) и сверхсознания (предошущение и предосознание будущего) – одним словом, сознания, которое принято называть художественным или, точнее, духовным. Время, на мой взгляд, – это связь пространства с сознанием. То есть некое особое состояние интерхроно-топического характера, а точнее – состояние трансхронотопии, когда сознание, познавая (и ощущая) пространство, устанавливает связь с познаваемым веществом или предметом, которые, ощутив эту связь, ОТВЕЧАЮТ сознанию, налаживая свою – встречную – связь. Такая связь есть особая энергия, присущая третьему веществу интерфизического характера, которое обеспечивает единство (за счёт своей метагравитационной энергии) физического и метафизического веществ. То есть время как интерфизический феномен возникает для того, чтобы осуществить контакт разноприродных веществ. Художник, поэт (интуитивист, естественно), находясь в состоянии трансгрессии (по Мишелю Фуко: уникальное состояние художественного сознания, проникшего в ПУСТОТУ и создающего из НИЧЕГО – НЕЧТО), то есть в состоянии метакогнитивного мышления и метагносеологического порыва, осуществляя акт метапознания, способен создать энергетически насыщенную связь НИЧЕГО с НЕЧТО (ЧЕМ-ЛИБО), то есть время – истинное, подлинное и функционально неопределённое.

УТРО В САДУ

Это свет или куст? я его отвожу и стою.
Что держу я – как ветер, держу и почти не гляжу на находку мою.
Это просто вода, это ветер, качающий свет.
Это блюдце воды, прочитающей расположение планет.
Никого со мной нет, этот свет... наконец мы одни.
Пусть возьмут, как они, и пусть пьют и шумят, как они.

(Ольга Седакова)

Поэт очень определённо номинирует неопределённость силы и энергии появления НОВОЙ СВЯЗИ между сознанием поэта и поэтическим предметом – кустом. «Никого со мной нет...» – значит следующее: ЧТО-ТО со мной есть, ЧТО-ТО есть с кустом (ветром, водой, светом и т. д.), – это значит: ВРЕМЯ СО МНОЙ ЕСТЬ. Или: между нами есть время.

Пространство – воспроизводимо, то есть моделируемо нами однотипно. Пространство – иерархично, классифицично, типологично, аналитично, синтетично, а значит – системно,

структурно и функционально ровно настолько же, как и сознание. Грубо говоря, сознание – пространственно, оно есть ментальный топос само по себе, тогда как время как связь пространства и сознания должно иметь некие интерсубстанциональные характеристики, признаки и свойства. Мы их не знаем, но ощущаем.

А если ты сверчок – пожизненно обязан —
сверкать, как будто молния над вязом,
и соответствовать призванию своему:
быть словом во плоти, быть новоязом,
хитиновым пристанищем в Крыму.
Фанерную в занозах тишину,
из запятой, из украинской комы,
горбатым лобзиком выпиливая дни,
ты запиши меня в созвездье насекомых —
в котором будут спать тарковские одни.
С врагами Рериха я в связях незамечен,
на хлипком облачке, на облучке —
бессмертием и счастьем, изувечен,
покуда дремлет молния в сверчке.

(Александр Кабанов)

Поэт здесь обнажает, вернее – выдирает наружу из множественных структур языка, стилистики и грамматики (запятая – кома/comma/кома; сверчок – сверкать etc.), культуры и поэтической памяти (которая столь крепка у постмодернистов, к коим А. Кабанова отнести трудно: уж очень самобытен, умён, лингвистичен, культурологичен, уникален и талантлив), выманивает на свет Божий и на слух наш **ВНУТРЕННЮЮ ФОРМУ ВРЕМЕНИ**. Поэт (любой, и А. Кабанов – тож, всегда между физикой и метафизикой, между правдой и истиной, между временем и местом. Поэт восстанавливает то, что уже было создано Богом, Природой и Космосом, – интерфизику, правдоистину и интерхронотопию). Время как связь сознания и пространства не только воспроизводимо, но и идиоматично и цельнооформлено. Как слово и как Текст. Время, как и Поэзия, просодично. Оно звучит. Оно незримо, нетактильно, но оно и неупиваемо, имея запах и способность ощущаться душой, интуицией, Духом. Время астрономическое есть подсказка, данная нам Вселенной и всем Мирозданием: вот вам длительность, периодичность, цикличность, неопределённость и бесконечность – берите всё это и пытайтесь почувствовать ваше время, метабиологическое, метаисторическое, метасоциальное etc.

Художнику нельзя постоянно находиться в ситуации трансгрессии, трансрациональности, трансэмоциональности и т. д. Он – погибнет. Астрономическое и художественное время прервутся, и из трещины взойдёт – вертикально – вечность. Стебель вечности шершав, колюч и ядовит. Но чем труднее и смертельнее – тем проще достигнуть высоты (движение вверх) или глубины (движение вниз). Что это? – Безумие? Да. Невозможность и неспособность жить, как все, вне главного своего времени, подаренного когда-то Богом и утраченного в процессе поиска еды и жилья. Инстинкт зверя подавил инстинкт божественный, рудименты которого остались еще в художнике. Человечество спасётся не Охотником, но Поэтом. Словесником...

Умер у нас в деревне Паша. Жил он, бывший горожанин, рожденный в Каменке, в родительском доме – чёрном и страшноватом, сделанном из лиственницы: брёвна уже как бы обуглились, фундамент просел, передние углы опустились, полдома просто рассыпалось, осталась одна половина – комната с голландкой, забор распался, крапива (летом) росла до крыши, сугроб (зимой) – до середины окон – в общем, не дом, а страшный раззявленный беззубый рот с чёрными бревенчатыми дёснами. Паша жил один. Выходил из дома (в люди – к автобусу) раз

в месяц – за пенсией, на которую накопил сухарей, тушёнки и ящик водки, – как раз на месяц хватало, до следующей пенсии. Мылся он в доме в двух тазах полухолодной водой. Спал с тяткой – крыс и хомяков отгонял, которые лезли к нему в постель, на диван, погреться. В общем, света белого не видел. Даже туалет устроил на крыльце, выходящем во двор, сбоку: пропилил в нём, высоком и дощатом, две дыры – и справлял нужду, не отходя от дома, не сходя на землю. (Всё думаю: а второе очко для кого? – жил ведь Паша один, и никто к нему не ходил. Ох!). Был у Паши телевизор, и жил Паша, выходит, сразу в двух своих временах: в биологическом и в социальном, то бишь в зоологическом и примитивно-виртуальном... Где он теперь? Что поделывает в вечности? Как свою пенсию тратит? В какой сортир ходит? И ходит ли вообще?..

Художественное время – подлинно. Поэтическое время – божественно. Поэзия – сама – есть связь Всего со Всем. Поэтому Поэзия – сестра интерфизического Времени. Времени трансгрессивного, чистого и мощного. Времени, в котором художник из пустоты делает вещь, из ничего – нечто.

А что мы всё о птичках да о птичках? —
фотограф щёлкнет – птички улетят,
давай сушить на бельевых кавычках
утопленных в бессмертии котят.
Темно от самодельного крахмала,
мяуканье, прыжок, ещё прыжок...
А девять жизней – много или мало?
А просто не с чем сравнивать, дружок.

(Александр Кабанов)

Что ж, поэт прав. Как всегда. Поэт прав всегда.

Сквозь себя

Я уходил в армию в ноябре. Тогда, в начале семидесятых, в армию ШЛИ. Сегодня – в армию забирают. Призывался я с Уралмаша. Уралмаша – во всех отношениях: Уралмаш – это и административный район Свердловска (в те годы), и огромный массив жилых домов (от «Машино-троителей» до Болота, где я проживал на улице Восстания; с улицей «Стакановской» – пили тогда почти все, поголовно: время было ясное, пустое и живое одновременно; Брежнев не лютовал, напротив, разрешил всем гулять, отдыхать, балдеть и строить мифический коммунизм; этот бровастый, бравый и равнодушный человек тираном не был – наоборот, он распорядился носить книгу и мирный атом в каждый дом); Уралмаш – это и завод-гигант, где я проработал полтора года фрезеровщиком, – и особая криминально-пролетарская зона уникальной свободы жить и бояться, жить и противиться шпане, занимаясь спортом, читая книги и сочиняя свою литературу, вибрировавшую между Лермонтовым и Джеком Лондоном, Тургеневым и Есениным, Пушкиным и Р. Л. Стивенсоном, Тютчевым и Багрицким (учился в школе я легко: учебники прочитывал летом, а в течение года, благодаря своему заиканию, отвечал на все предметы письменно, часто в стихах, плохих, но ловких и глупых, как вся социальная «поэзия»; в девятом классе я был изгнан навсегда [до выпускных экзаменов] с уроков словесности за ремарку на уроке литературы, когда учительница Н втирала нам про «лишних людей» [по Белинскому] и когда я, страшно заикаясь, проворчал с задней парты, что, мол, Печорин, Онегин и Чацкий вовсе не лишние люди, – «А кто же тогда – лишние?! – возопила Н. Мы, – ответил я, – Вы, я, они...»). Уходил я осенью. В тёмном раннем ноябре. Дядя Коля, мамин брат, подарил мне перочинный швейцарский нож – и заплакал (через полгода он повесится – по пьянке, но узнаю я об этом только после дембеля).

Я уходил (из нашего бывшего класса – десятого «А») последним: был самым младшим. Мы пили, пели, обнимались, пили, опять пели – и я ушёл...

Через год я, после вахты, курил за единственной рубкой на палубе танкера где-то в акватории Египта. Палуба – стальное в рубчик футбольное поле – была обстреляна (для остротки) противником (полуусловным и полуреальным) какими-то некрасивыми и нестремительными «спидфайерами». Палуба пела и стонала. И гремела, и грохотала. Я прижался спиной к рубке, но сигарету «Северных» не бросил – решил докурить назло империализму. И тут – естественно неожиданно, вдруг – кто-то врезал мне по правой стороне лица, сразу и по скуле, и по уху, и по щеке, и по челюсти. Вмазал со страшной силой, как Кассиус Клей (Мохаммед Али). И я крутнулся вокруг своей оси и завалился – вперёд, мордой в палубу – уткнулся лбом и глазами в руку. Не в мою. В чью-то руку. Оторванную по локоть. Срезанную то ли осколком, то ли разрывной пулей. На запястье руки были часы. «Победа». На чёрном лаковом ремешке...

После Главной войны лет 10–15 почти все носили часы «Победа». И мой отец. Потом он подарит мне свои часы, но я их выброшу – с балкона пятого этажа хрущёвки, в которой мы жили. Потом пошли другие наручные часы: «Зенит», «Луч», «Ракета» и т. д., – почти все названия были связаны с полётом. Потом появились «Командирские», а в начале девяностых наш часопром был повержен сначала японскими, а затем китайскими штамповками. Имя времени, однако, не изменилось. Главное имя. Время, вне корпуса часов и стрелок, оставалось загадкой – сладкой и жестокой.

Через два месяца после затрещины мёртвой рукой, уже на Кольском, я передал часы «Победа» матери погибшего морпеха. Мы ничего не говорили. Просто плакали.

Память – это культура. Пролонгированная и зафиксированная в предметах искусства – память. Текст (и любой талантливый артефакт; талантливый – значит явившийся частью гармонии, гармонии общей) – сущность воспроизводимая. Текст есть память. Память есть время. Значит – время воспроизводимо: и кинетически, и ментально, и божественно.

Сижу на крыльце бани, смотрю на свой садик, на птиц, на небо, на горы, на лес, на коршуна, виражирующего над озером, – и чувствую, понимаю, как стыдно быть человеком перед лицом воды, земли, неба, растений, птиц и зверья. Всё и вся испоганили своими денежными и удобными для веселья и смерти городами. Город – сущность сложная, нужная, но выродившаяся в социально грязное и нечестное месиво плоти, характера, амбиций и хронотопического идиотизма. Человек живёт здесь в четверть силы и только ради денег. «Политическая культура» перекрыла, накрыла и задохнула культуру национальную. И качество воспроизводимости культуры погашается. И новые беспамятные порождают новое беспамятное. Скушно. Не страшно – но скушно.

Из Егоршино (распределительный пункт призывников) меня с другими бедолагами, отоппавшими за неделю егоршинского бардака, повезли в теплушках в Мурманск. Я попал на Северный флот, но не знал, сколько придётся служить: 2 или 3 года. Лежал на верхней полке и считал: 2 года – это 730 дней; 3 года – 1095 дней. Знал бы я тогда, ЧТО мне придётся пережить, какой мурцовки испробовать etc. Да и срок вышел совсем другой – не первый и не второй, а промежуточный. У меня всё и всегда так – ни два, ни полтора, ни семь, ни восемь. Близнецы (по рождению). Все беды и счастья приваливают то в двойном, то в полуторном размере.

Сижу на банном крыльчке и думаю: что это я про армию-то вспомнил? С чего это баня-то пала? Сорок лет прошло, как... Много там чего было: и спецшкола, и дисбат, и командировки, и госпитали, и добрая морская авиация, дембельнувшая меня мягко и уважительно. Почему вспомнил-то? Ведь стараюсь не лезть туда, в те годы, в те земли и в те хляби... И вдруг понимаю: Давид! Не тот, который Голиафа приласкал, а Давид Паташинский, русский американец. Поэт. Мы встретились в Москве, в квартире Вадима Месяца, где кроме нас жил ещё и Сергей Бирюков, классик поэтики и поэзии авангарда.

Давид младше меня на пять лет. С виду крепкий ещё мужик, почти парень, почти мальчик. Ребёнок. Поэт, он и есть ребёнок. Давид, увидев меня, большого и брутального, затеял вокруг меня ритуальные танцы знатока восточных боевых единоборств. И это, действительно, было красиво: журавль, тигр, цапля, обезьяна, кошка, орёл и человек с бритой головой, красивый, сильный и печальный. Я вежливо похваливал, не зная, как реагировать на такие физкультурные движения, па, повороты, извороты и выверты... А потом я прочёл подаренную Давидом книгу – и обомлел: поэт. Поэзия – вся – избыточна: в звуке, в смыслах, в свете, в тепле. Избыточна здесь, на Земле, – и одновременно нормальна и нормативна, если не недостаточна ТАМ, где-то вверху, за небесами. И поэт избыточен – во всём. Иногда невыносим. Но – прекрасен. Потому, что – ребёнок.

Колокольчик зол, зол, шмель жену себе нашел,
пальчиком водил, рыбку удил.
Патронташик пуль полн, нам бы ваших бурь, волн,
да прибрежного песка, да железного свистка.
Разгуляйся, гуляй, платье красное вверх бросай,
платье черное лови, соловьи, соловьи.
Звон стоит, молодой сон, над рекой звон,
под рекой мужики, там живут мужики.
Весна пришла, только очень холодно еще,
сделай так, чтобы горячо.
Колокольчик сам свят, на небе ал стяг,
небо синее, голубое, вот и мы с тобою.

Странные стихи. Сильные. И – русские. Если всё это сделать по-английски, то выйдет бред. Но бред – куда ближе к поэзии, чем не бред, небред. А колокольчик-то, действительно,

зол. Ох, как зол! И шмель, молодец, без жены не смог и не мог: а с женой он весь свет выжужжал, выгудел, выпугал, высмотрел и влюбил. Да. Стихи Давида Паташинского – это человеческое в божественном (как Вивальди). Такая вещь – и музыкально, и поэтически – это осознание себя одновременно человеком и Богом; человеком до рождения и после смерти его, между которыми – жизнь как стихотворение и скрипичный концерт. Поэзия и музыка непредсказуемы, как природа, как душа, как Дух.

Когда Давид уходил в спальню распутывать и развязывать часовые пояса, накопившиеся в нём после перелёта из Америки в Россию, я оставался один и листал книги, изданные в «Русском Гулливере», курил на балконе, почти упиравшемся в крышу Третьяковской (старой) Галереи, смотрел на Болотную Площадь, оглядывал храмы и башни Кремля и думал, что я здесь делаю: в Каменке у меня маются вновь посаженные липки, сосенки и ёлка. А кедрик?! Кедр молодой, почти младенец. – Их же поливать да поливать сейчас нужно!.. Но тут хлопала входная дверь, и в гостиную входил Сергей Бирюков, классик. Скрамнейший человек, 15 лет живущий в Германии, – и вот – подаренный мне судьбой и случаем здесь, в Москве.

Странно встретить и увидеть и рассмотреть человека, чьи книги знаешь давно, – словно время сжимается, как вода, до твёрдого состояния (три года в Индии), в послебрачном, точнее – междубрачном, состоянии, и тебе, старшему преподавателю и заочному аспиранту, говорят: «А напиши-ка ты книжку о поэтической графике...» И ты читаешь «Зевгму» Бирюкова (а твоя книжка появится лет через 15, написанная вместе с твоим аспирантом). И вот – милейший и талантливейший Бирюков. Авангардист и авангардовед. И ничего в нём авангардного нет. Ничего, кроме глаз. Глаза у Сергея Бирюкова – ангельские и птичьи одновременно. Пронзительные и мягкие. Светящиеся.

ЗВЕРОЭТЮД

тигр одиночества
пасется на пастбище слов
ему неможется
он устал от снов
он рвет свою шкуру в клочья
он гасит свет
он влажно бормочет ночью
тигр-экстраверт
и когда вылезает в улицу
бредет среди ослов и людей
то ищет глазами умницу —
стража его идей
его передергивает отчаянием
он теряет над собой власть
он вскрикивает нечаянно
платком прикрывая пасть

Да, это вам не гладкомордое кино и *говоритмы* верлибра. Это – страсть. Настоящая страсть – признак одинокого человека. Поэта. Поэта, пишущего не быстрорастворимые стихи городского бездельника. Поэт ходит за стихами – сквозь себя – туда, где видно, как снегирь понимает, что он красив. Снегирь понимает, как он красив... Я хожу за стихами к костру и к озеру.

движеньем резким вывести из боли
того себя которым был когда-то
и на того которым стал сейчас
летающим летящим и летучим

Переживать трагедию (без видных признаков её), катастрофу (тоже безвидную), беду, горе и боль (подлинную и первородную) для того, чтобы с выросшей до непомерных размеров душой – летать. Летать летающим, летящим и летучим. Вот – поэт...

Потом она спросила:

– Ты знал его?

– Да... – (я не знал этого матроса).

Она сидела, опустив голову, и смотрела на часы «Победа» с чёрным лаковым, кое-где треснувшим, ремешком.

– Он... Ваня... прикрыл нас... – (Прикрыл собой Египет, обложенный четырьмя державами).

Она подняла голову, и я увидел её глаза сквозь себя и сквозь две толщи слёз – её и моих. Мы сидели в штабной комнатке одни – как под водой. Под морской мутноватой водой. Вода слёз. Воды слёзы. Хляби очей и душ наших... Вот и всё.

COM

Нам кажется: в воде он вырыт, как траншея.
Всплывая, над собой он выпатит волну.
Сознание и плоть сжимаются теснее.
Он весь, как чёрный ход из спальни на Луну.
А руку окунёшь – в подводных переулках
с тобой заговорят, гадая по руке.
Царь-рыба на песке барахтается гулко
и стынет, словно ключ в густеющем замке.

Это раннее стихотворение Алексея Парщикова. Время, уходя Бог знает куда, всё сильнее, страшнее и крепче стесняет сознание и плоть, выжимая душу – наружу, туда, где все чёрные ходы наших мыслей и чувств соединяются в один – светлый.

Продлиться навсегда

Лет пятнадцать назад сижу, мучаюсь над началом статьи (не могу «въехать» – то есть нужно первое слово, из которого вырастает текст). Обращаюсь к четырёхлетнему сыну: – Миш, подскажи мне первую фразу... – Парнишка, не задумываясь, произносит: – Светит солнце. (Миша уточняет: – Может быть, односоставное? [он учится в школе «пушкинского резерва», или «призыва», как шутил я, где русский язык начинали изучать прямо с синтаксиса – с интонации и предикативной основы. Дети всё понимали, прекрасно говорили и читали, и пересказывали прочитанное, но... через десять лет всё позабыли: началась отроческая мученическая жизнь, и стартовал век электронно-компьютерного мышления и говорения. А тогда, сынок мой, вернувшись из Крыма, где отдыхал у моих друзей, на моё предложение поговорить по-украински ответил: – Ты шо, охренел?!]). Солнце светит. Да, светит. Светит всегда. Даже когда не светит. Сюда, к нам не светит. Его несвет ощущается особенно явно летом – всегда: и ночью, и в пасмурнягу.

Ощущение солнца – это ощущение детства. Детство представляет собой тройную (минимально) жизнь, тройное существование: первое – глубоко внутреннее, соматически новое, психически (ментально) эвристичное; второе – широко и глубоко, и высоко внешне, когнитивно новое (но с дежавю), физико-метафизическое (гносеологическое) познание себя в мире и мира в себе с интерфизическим счастьем, ужасом и разочарованием; третье – грубо и императивно социальное: испытание толпой, группой, классом, строем, звеном, etc. И здесь в моём сознании высвечивается семема «ЛАГЕРЬ». Концентрация детей в одном месте, руководимое броуновское движение персоналий и индивидуальностей, руководимое педагогами-пастухами, или педагогическими (психологическими) пастухами, но не пастырями, знающими такие слова, как «психология», «воспитание», «идеология» (любая, и финансово-рыночная в том числе) и т. д. и т. п. Лагерь. Концентрация. Концентрационный пионерский лагерь.

Лагерь, из которого меня – посезонно – изгоняли дважды. Первое выдворение оказалось скандальным. Очень. Даже слишком. Вообще-то, парень я был тихий, тихоня, заика, молчалив, с карими твёрдыми глазами (взглядом – так это видится мне на старых фотографиях). Два-три парнишки-хулигана-естествоиспытателя вдруг взяли меня в серьёзное дело: с лестницы заглянуть в банное не замазанное мелом окно; по средам в бане мылись воспитатели и остальные идеологи и надзиратели. Лестницу приставили, рама оконная лопнула – и мы ввалились в мойку прямо с неба, из неба (дети – ангелы, и поэты – тож) в какое-то месиво, в гущу голых больших мужских и женских, недетских тел: вольное мытьё, или помыв, разгорячённых всем на свете наших наставников удивил нас, а наше удивление удивило тех, кто принимал межгендерное омовение. Нас выгнали из лагеря. Меня выгнали из лагеря. В течение месяца мать и бабушка прятали меня от изумлённого и скуповатого моего отца, дабы не побил: семь рублей за путёвку пропали даром, впустую. Второй раз меня изгнали из лагеря на следующий год, узнав во мне небесного лазутчика. Лазутчика по запретным баням... А день, какой был день тогда? – Ах, да: среда! С тех пор среда (как день недели) и лагеря (любые: сталинские, гитлеровские, пионерские и проч.) стали для меня символами тёмного, страшного и гибельно безысходного.

Перемещаюсь по городу я на общественном транспорте (метро, трамвай, реже автобус). Ходил бы пешком, да больная нога не даёт. Вот и стою на остановках – чаще один и в сторонке от всех. Избегаю хоровых ощущений. Хоровых эмоций. Коллективных прозрений. И толпяного познания. Стою себе один-одинёшенек, курю (отныне – в кулак: борьба у нас с курением; Россия мрёт от наркотиков и алкоголя, а власть вдруг заборолась с курением; ночные клубы набиты волшебными таблетками; амфитамины везде, где есть толпа молодых и резвых; и этот факт знают все. Все, кроме правоохранительных органов: в стране около 40 % алкоголиков и 18–20 % наркоманов, а борьбу ведут со мной – курящим, т. к. от меня вреда куда больше, чем

от нарков и синяков [которыми забиты все пригороды, промзоны и посёлки]). Курю это я на остановке и думаю: политики – это такие клакеры (как в дореволюционных театрах побиватели собственных ладош за деньги по команде антрепренёра), которые возбуждают в общественном сознании шум аплодисментов (власти) и пощёчин (от власти). Рядом со мной стоят 3–4 супериндивидуальности: парни и девки сплошь в портачках (татуировки) и пирсинге; они тоже выделились из толпы, образовав новую толпу себе подобных. Пресловутые субкультуры стали шире и мощнее культуры, которая стоит где-то в сторонке от бизнеса, шоу-бизнеса, бюрократии и войны – и курит в рукав свою классическую преступную сигаретку.

Думаю: поиск истины прекращён. Толпе нужна то ли правда, то ли правота. Наука истины придумывает. Религия о существовании истины догадывается. Искусство стало рыночным и зарабатывает истинные деньги. Только поэзия и музыка (не попса!) остаются истинотворным занятием. Мир перенабит информацией, т. е. фактологическим, ложно-фактуальным и фантазийным мусором. Обилие такой «информации» убивает познание: у человека нет выбора, потому что он бесконечный; поиски не истины, но выбора – отвлекают от главного, ради чего мы явлены КЕМ-ТО или ЧЕМ-ТО этой планете, – знать. Познавать. Переузнавать. Вызнавать. Опознавать. Узнавать. Узнавать истину.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.